БАСАД

ЯН РОСС

18+

Информация

Роман «БАСАД»
Автор Ян Росс

Посвящается моим родителям

Корректоры Ирина Цуркова, Олеся Шевцова

ISBN 978-5-9909643-5-8
© ЯН РОСС, 2020

Сайт автора: yanross.net

Содержание:

С Божьей помощью

В беллетристике считается правильной стратегией использовать любые уловки для нагнетания сюжетного напряжения. Исходя из этого, стоило бы держать в тайне значение слова “басад” хотя бы пару десятков страниц или до второй половины романа, а то и вовсе беречь этот секрет до самого конца. Но загадывать загадки для подогрева читательского интереса не входит в мои планы, а сюжет и его нагнетание…

Не в них дело, и в том числе вот почему: количество различных сюжетных ситуаций ограничено. И ограничено на удивление малым числом.

Некий Жорж Польти, опираясь на утверждение писателя и философа Гете, в 1895 году издал книгу под названием “Тридцать шесть драматических ситуаций”. Шиллер (кстати, тоже философ и драматург) пытался опровергнуть это утверждение, но не смог выдумать и тридцати. Впрочем, суть не в том, сколько именно разнообразных коллизий родила литература и драматургия, а в том, что их палитра скудна. И все, абсолютно все сюжеты выкраиваются из довольно скромного числа ключевых ситуаций.

Для сравнения, в конструкторы для детей младшего дошкольного возраста входят десятки деталей, а для семи-восьмилетних количество деталей исчисляется сотнями и тысячами. Следовательно, ребенок с обычным конструктором располагает куда большим простором для творчества, чем раскрывает перед писателем весь сюжетный арсенал мировой словесности. Вывод о нелепости чрезмерных потуг на сюжетные ухищрения напрашивается сам собой.

Теперь, закончив с нападками на классические литературные каноны, приступим к самому повествованию.

Итак, первое, что я узнал, поступив в аспирантуру, – это значение слова “басад”. Басад (ударение на второй слог) – это аббревиатура выражения “с Божьей помощью”. Даже не сама аббревиатура, а ее произношение. Прежде чем что-либо написать, религиозный еврей выводит это свое “басад” в верхнем правом углу листа, и только потом, уже не просто так и не сам по себе, а с Божьей помощью, принимается за текст.

Мой научный руководитель, как и многие в Израиле, религиозный еврей. Стремясь исполнять заповеди и традиции, он штампует “басад” не только на разных листах, документах и электронных письмах, но и где ни попадя. И по этому восхитительному поводу наша лаборатория вся сплошь – “с Божьей помощью”. Компьютер, точнее – компьютеры, все как один в наклейках “с Божьей помощью”, с Божьей помощью мониторы, клавиатуры, мышки, осциллограф, пульсовый генератор и даже с Божьей помощью химическая магнитная мешалка.

Я набираю раствор наночастиц из пробирок, на которых красуются надписи “с Божьей помощью”. Засовываю в “с Божьей помощью” микроволновку, где они, видимо, с той же помощью разогреваются. Тщательно измеряю температуру, естественно, не без Божьей помощи, оптическим зондом. И лишь затем самостоятельно и уже без всякой Божьей помощи произвожу расчеты своими собственными скриптами.

Да и сам профессор, куда не ткни, со всех сторон “басад”. Перед обедом – ритуальное омовение рук. В иудаизме считается, что во время сна душа покидает тело, и оно оказывается во власти духов скверны. При пробуждении духи немедленно исчезают, задерживаясь исключительно на кистях рук. И руки остаются нечистыми до тех пор, пока их не омоют надлежащим образом из специальной чаши с двумя ручками – дабы чистое не соприкасалось с нечистым.

С этим более или менее ясно – эзотерическая аргументация азов гигиены эпохи пращура Моисея. Однако по неизвестной причине между моментом очищения от скверны и началом трапезы категорически запрещается разговаривать. Пару раз я встречал профессора Басада, которого на самом деле зовут Шмуэль, в этот ответственный промежуток времени и пытался поздороваться или что-то сообщить. А он только выпучивал глаза и изображал нечто пантомимой. Позже он пояснил суть и происхождение ритуала, но я так и не уловил, как именно молчание связано со скверной и с духами. Забавное правило: вымыл руки – закрой рот.

После обеда – непременное посещение синагоги и молитва, которую я со временем прозвал медитацией. По ее окончании Шмуэль склонен забредать в лабораторию и цитировать Тору. Я ему о результатах экспериментов и их интерпретации, а он давай сопоставлять все это со Священным Писанием. Стоит, благодушно улыбается и поглаживает округлившийся живот, будто манны небесной объелся. В такие минуты профессор Басад благолепен до неприличия. Разве что сияние не испускает.

К этому профессору и в нанотехнологии меня занесло довольно случайно. Дописав свой первый роман, я погрузился в какое-то странное оцепенение, онемение всех чувств, всепоглощающую опустошенность. Мой психоаналитик Рут даже сравнила это с послеродовой депрессией. То есть, нет – сама книга еще не родилась и требовала множество разнообразных усилий. Хочешь не хочешь, приходилось вставать, идти, делать. Процесс двигался отнюдь не гладко, отнимал массу времени, нервов, но именно это и создавало вовлеченность, заполняя внутреннюю пустоту и разгоняя тоску.

Первым делом пришлось озаботиться самой жгучей для начинающего писателя проблемой – поиском способа публикации. Обращаться в издательства, со всеми вытекающими мытарствами, оказалось крайне изнурительно. Я неоднократно писал, чаще всего не получая ответа. Я звонил, мне вежливо говорили: “Высылайте рукопись”, а потом игнорировали; или, явно не слишком вникая, отделывались стандартным отказом по причинам финансового кризиса, несоответствия жанра, иностранного гражданства, недостаточной патриотичности тематики и т.п.

Несколько предложений все же поступило, но за ними угадывалось нещадное кромсание текста. Ножницы пугали сильнее всего. Ведь каждое слово было либо вспышкой некоего озарения, либо выстрадано и сотни раз взвешено на весах совести и, какого ни есть, таланта. Позволить кому-то перекраивать плоды этих прозрений и кропотливых балансировок казалось немыслимым. Однако попутно выяснилось, что в эру электронных книг многие, и в том числе признанные авторы, предпочитают издаваться самостоятельно. Это окрыляло, и почти сразу с головокружительной легкостью нашелся редактор.

Общение с бездушным и беспощадным аппаратом книгоиздания прекратилось, и начался долгий и болезненный процесс редактуры. Несмотря на взаимную симпатию и некую близость духа, мне порой хотелось прибить этого редактора. Наша совместная работа, о которой я подробней расскажу позже, сперва выглядела довольно сумбурно, зато чрезвычайно эмоционально и насыщенно. Думаю, я сводил его с ума не меньше, чем он меня.

Потом предстояла еще масса этапов: корректура, создание электронной книги, сайт, продвижение… Но это было уже совсем не то. Пропала насыщенная смесь радости и муки творения. Я обслуживал превращение текста в продукт, а не “творил”, что бы это претенциозное понятие ни означало.

Однако имелись и насущные дела, требующие внимания. Пришло время задуматься о будущем. В нем мне грезилась модель существования, которая

позволила бы писательствовать, не заморачиваясь вопросом извлечения из этого прибыли, и заниматься еще какой-нибудь не слишком обременительной деятельностью, приносящей скромный доход.

Последние годы я подрабатывал лектором в колледжах, где убедился, что за преподавание платят такие копейки, что вся прелесть частичной занятости пропадает. Чтобы сводить концы с концами, приходится стоять у доски каждый день чуть ли не полную смену. А идти в какую-то солидную компанию – обратно в общество запрограммированных на так называемый успех корпоративных служащих – никак не вязалось с фантазией о жизни свободного художника.

Да и расставаться с преподаванием не хотелось, тем более что имелся выход. Можно было существенно повысить почасовую оплату, обзаведясь докторской корочкой. Мечту стать выдающимся ученым я давно не пестовал, перспектива академической карьеры меня не грела, но учеба всегда давалась легко. К тому же я успел поработать по специальности и набраться опыта, так что защитить диссертацию в моей или какой-либо смежной области без особых запросов на великие открытия не представлялось большой проблемой.

Тогда ситуация в корне менялась – можно было бы преподавать по несколько часов в день, а в остальное время писать, и еще… что именно еще, я пока не придумал, но немного работать и немного писать, а не возвращаться к оголтелому образу существования, где в будни я пахал до изнеможения, а в выходные пытался наспех пожить “полной” жизнью и отоспаться.

Картина будущего представлялась идиллической. Во-первых, преподавание мне всегда нравилось – стоишь, разглагольствуешь, а все сидят, смотрят снизу вверх и внимательно слушают. Что может быть более привлекательным для самовлюбленного пижона вроде меня? Во-вторых – масса свободного времени. И в-третьих, сам путь достижения этой идиллии не предполагал существенного компромисса.

Если найти вменяемого научного руководителя, можно провести период аспирантуры в не слишком требовательной институтской атмосфере, где будет вдоволь личного времени, и заодно сразу начать преподавать. И преподавать в моем родном институте любознательным и прилежным студентам, а не в зоопарке колледжей, где приходилось разжевывать элементарные вещи и заниматься дисциплиной.

Но ключом к райским вратам оставался удачный выбор научного руководителя. Дело в том… следующее утверждение может показаться слишком резким и необоснованным, хотя оно не так уж маргинально, да и под шелест этих страниц… то есть под их электронное мерцание, вы сможете составить свое собственное мнение по данному вопросу. Так вот, дело в том, что академическая среда устроена наподобие гильдии в феодальном обществе. Как только попадаешь туда в качестве аспиранта, твоя судьба целиком и полностью в руках научного руководителя. Если что-то пошло наперекосяк, нельзя уволиться и перейти к другому. Нет официального контракта, как в коммерческой компании, которая обязана платить определенную зарплату и соблюдать заранее оговоренные условия.

Научный руководитель каждые полгода единолично, по собственному усмотрению и без каких-либо четких критериев пишет характеристику, и если она неудовлетворительна – снижают, а то и вовсе аннулируют стипендию.

Или профессор может не дать вовремя защитить диссертацию и оставить полезного для себя студента еще, к примеру, на год. Без всякой дополнительной субсидии – просто бесплатно вкалывать. Или – может не дать защититься вообще. Сверх того, стипендия – это не зарплата. Зарплату получил, и ее уже нельзя потребовать обратно. А стипендия, во всяком случае, у нас, обусловлена будущим успешным окончанием аспирантуры. И… если кому-то совсем не повезло, этот кто-то может оказаться в ситуации, где будет обязан вернуть все обратно. Весь свой доход за, скажем, последние четыре года.

В общем, как говорилось выше, аспирант полностью зависит от желаний и прихотей своего научного руководителя. При этом ни у кого нет никаких рычагов воздействия на профессора. Его должность пожизненная, и даже декан или ректор не могут оспорить его решение. И в случае произвола защиты искать попросту не у кого.

Аспирант фактически является крепостным своего научного руководителя. Разумеется, не в том смысле, что его секут розгами на конюшне. И это, естественно, не значит, что все профессора непременно злоупотребляют своим положением. Однако даже самым порядочным и достойным людям крайне сложно бороться с искушением почти безграничной власти. Поэтому выбор руководителя и отношения с ним архиважны для успешного завершения и комфортного существования во время учебы.

К слову, был такой Тед Стрелецкий – аспирант кафедры математики Стэнфордского университета, которого всячески притеснял и третировал научный руководитель. Тед терпел, терпел, но на девятнадцатом году… простите, я обязан

подчеркнуть, на 19-ом году тщетных попыток получить добро на защиту диссертации его терпение лопнуло. Тед взял слесарный молоток и убил своего профессора. Затем пошел, сдался полиции и на допросе заявил, что его поступок правомерен, так как не является превышением пределов допустимой самообороны.

Эти сведения можно почерпнуть из краткой статьи в Википедии, однако, если копнуть глубже, проступает еще более рельефная картина: восемь лет Тед Стрелецкий планировал свое возмездие. “Суть была в том, чтобы добиться общественного резонанса, – пояснил он. – Я рассматривал и иные альтернативы. Взвешивал обращение к выпускникам и студентам. Обдумывал возможности вандализма или огласки в СМИ”. Последний вариант он отклонил как непрактичный. “Телевидение и средства массовой информации не интересуются проблемами аспирантов, зато охотно освещают убийства”.

В определенной логике Теду не откажешь, в последовательности – тоже. В ходе суда он вежливо и терпеливо продолжал настаивать на том, что его поступок логичен, морально оправдан и является актом гражданского протеста против отношения факультета к аспирантам. Вопреки советам адвокатов Тед отклонил формулировку “невиновен по причине безумия” и заявил, что он объективно невиновен. Без всяких “но” и “по причине”.

В итоге присяжные все же сочли его не вполне вменяемым и признали виновным в непредумышленном убийстве. Теда упекли на семь лет. Во время заключения ему было трижды предложено досрочное освобождение, но он раз за разом принципиально отказывался из-за сопутствующего запрета появляться на территории Стэнфордского кампуса. “Я чувствую сожаление, но не угрызения совести, – сказал он. – Сожалея, вы признаете трагические последствия, но если снова придется делать выбор, поступите точно так же”.

Освободившись, как и намеревался, и с тем же вежливым и невозмутимым спокойствием, Тед продолжил борьбу против деспотизма в академической среде. История вновь получила огласку, но Стэнфордский университет отказался от участия в публичных дебатах, надеясь, что шумиха утихнет сама собой и акция протеста сойдет на нет.

Итак, мы говорили об исключительной важности выбора научного руководителя. Аспирантуру хотелось бы завершить успешной и своевременной защитой, а не проламыванием черепов подручными инструментами. Почти полгода я посвятил рассмотрению разных альтернатив и в результате остановился на профессоре

Басаде. Но прежде чем принять окончательное решение, целое лето проработал у него на добровольных началах, чтобы присмотреться ко всему изнутри.

В этот период мы ладили как нельзя лучше, и у меня сформировались следующие соображения: во-первых, Шмуэль вечно пребывает в состоянии благостной полуспячки и, вероятно, не станет предъявлять заоблачные требования или стоять у меня над душой и следить за каждым шагом. Во-вторых, профессор Басад, как правило, появляется на факультете всего четыре дня в неделю, а в четверг[1] работает из дома. И в-третьих, он ревностно соблюдает все официальные и неофициальные религиозные праздники и тоже остается дома. А у евреев этих праздников, полупраздников и прочих особых дней – тьма тьмущая.

Кроме того, профессор Басад считается ведущим экспертом нашего института в компьютерном моделировании – есть такой раздел прикладной математики, который, очень кстати, является и моей основной специализацией. Так сложилось, что мы временно вынуждены заниматься наночастицами, но вскоре мое прозябание в лаборатории закончится, я вернусь в зону комфорта и смогу целиком погрузиться в любимое дело.

А пока я с головой в нанотехнологиях, в которых почти ничего не смыслю. Шмуэль, как постепенно выясняется, тоже. И если со знаниями у нас туговато, то с аппаратурой для подобных исследований дела обстоят еще хуже. Мой основной прибор – кухонная микроволновка. Так что рассчитывать нам особо не на что. Кроме, конечно, той самой Божьей помощи – единственное, в чем наша лаборатория не испытывает недостатка.

Во всем остальном мы предельно ограничены. Для любого самого мелкого шага нужно оборудование, нужны эти чертовы наночастицы, которые, пусть и маленькие, стоят ошеломительно дорого. А с финансированием в науке, за редкими исключениями, катастрофически плохо.

Как только я разберусь, что к чему, мне доверят святая святых – доступ к бюджету лаборатории. И на эти крохи можно будет заказать пару миллилитров раствора наночастиц. Но пока меня еще не пускают играть с большими ребятами, и я упражняюсь в песочнице. Мне отдают использованные в других опытах образцы из контейнера с надписью “Химический мусор”, и с ними, молитвами профессора Басада и ниспосланным ему Божественным вспомоществованием, я пытаюсь воплощать наши наполеоновские замыслы.

[1] Рабочая неделя в Израиле начинается в воскресенье и заканчивается в четверг.

На днях всучили очередную баночку, хранимую уже года два, потому что эти наночастицы надо утилизировать особым образом, а руки до этого не доходят. Наночастицы токсичны и, по видимости, являются канцерогенами. Но толком никто ничего не знает, так как они только-только стали популярны и пока малоизучены. Так вот, эта баночка, как и многие предыдущие, сопровождалась историей, описывающей злоключения ее содержимого. В ходе прежних экспериментов наночастицы разлились на пол, были собраны и закупорены вместе с пылью и мусором. Пыли и мусора в этой мутной неоднородной смеси вполне могло быть гораздо больше, чем самих частиц. Плюс с тех пор все кисло вне холодильника. Но тут появился я, и настал звездный час этого неведомого вещества.

Как источник облучения используется старая микроволновка, в верхней стенке которой я просверлил дырку для оптического термозонда. Настройки моего супер-излучателя более или менее ограничиваются функцией “вкл/выкл”. Измерить интенсивность электромагнитного поля внутри микроволновки мне нечем, а оно крайне неоднородно – стоит чуть сдвинуть пробирки с образцами, и результаты кардинально меняются. Вероятно, именно из-за этой неконсистентности, вопреки всем стараниям, пока ничего не клеится. Но, принимая во внимание мой более чем скромный опыт, качество и объем выборки недостаточны для однозначных заключений.

Так что без Божьей помощи нам никак. Остается надеяться, что помощь Всевышнего компенсирует отсутствие аппаратуры, и главное – наше вопиющее дилетантство.[2]

---

[2] Господин Редактор советует добавить в конце этого фрагмента некий “крючок” для зацепки и удержания читательского внимания, потому что в XXI веке у людей нет ни терпения, ни времени. В этом смысле Редактор, бесспорно, прав, однако чтение этого романа – дело добровольное.

Дружба, музыка и воровство

Вы еще тут? Прекрасно. Поехали!

Моего первого друга в Израиле звали Артем Резник. Впоследствии мы вместе учились в школе и тусовались в одной компании. Его отчим был алкоголиком, время от времени лупившим свою жену и вступавшегося за мать Артема. С годами Тема подрос, окреп и стал отправлять отчима протрезвляться в реанимацию.

А когда нам было по двенадцать лет, он убегал из дома, и я получал возможность, во-первых, участвовать в его приключениях, а во-вторых, со свойственным мне уже тогда нарциссизмом, наслаждаться тем, что помогаю другу в беде. Помощь товарищу – это святое. В те годы я зачитывался Ремарком, идеализировал концепцию дружбы и имел преувеличенное представление о собственной роли в жизни тогдашних приятелей.

Из наших совместных похождений больше всего мне нравилось воровать. Никакой насущной потребности в воровстве я не испытывал – рос в благополучной семье, родители (зачастую чрезмерно) обо мне заботились, и я не ведал ни в чем нужды. А дружба с Резником вносила разнообразие в эту удручающе идиллическую картину.

Воровали мы изобретательно и с душой. Я любил планировать и осуществлять, а финансовая сторона меня не интересовала. Сбывал наши трофеи Артем, и он же отдавал мне часть выручки. Своей доли мне хватало с лихвой, а ему эти деньги были по-настоящему нужны.

В воровстве идеально сочетались риск, азарт, и главное – вызов благопристойному и скучному миру взрослых. Одной из наиболее удачных схем была следующая: мы выбирали дорогой, скажем, спортивный, магазин. Сетевой, не маленькую лавку. Кодекс Робин Гуда – грабить богатых можно и даже нужно. Заходили порознь. Первый присматривался, например, к теннисным ракеткам. Снимал чехлы, разглядывал. Потом, будто в рассеянности, менял чехол дорогой ракетки на чехол одной из самых дешевых и наиболее покупаемых. Баркоды и ценники в этой стране непуганых идиотов почему-то клеились исключительно на чехлы.

Дальше – раз плюнуть. Второй брал ракетку с подмененным чехлом, нес в кассу и чинно покупал дорогущий товар по дешевке. Схема работала идеально, риск был

минимален, а краденый спортивный инвентарь удавалось сплавлять где-то за треть цены. Неплохой навар за полчаса чистого удовольствия. То же самое, но чуть менее изящно, мы проделывали, переклеивая ценники с дешевых вещей на дорогие.

Впрочем, воровать я начал гораздо раньше. Без кодекса чести, да и без азарта и куража. Еще в Советском Союзе. Тогда, подобно большинству отпрысков интеллигентных еврейских семей, я был добровольно-принудительно записан в музыкальную школу. Мне крайне повезло: на скрипке уже играл младший брат – оплот маминых чаяний взрастить небывалого виртуоза, поэтому на мою долю выпала флейта, да и то – без ожидания непременных подвигов и великих свершений. Но счастье, как водится, длилось недолго. Дворовые пацаны быстро растолковали, что флейта, которую зачастую путали с дудкой, – это совсем не круто. Круто – это гитара или, на худой конец, барабаны.

Я до сих пор помню пальцы с ороговевшими ногтями, лысину со старческими пигментными пятнами и дрожащие слюнявые губы учителя, отбиравшего у меня инструмент, чтобы продемонстрировать, как правильно “дудеть”. Когда он отдавал мне эту заплеванную железяку, от брезгливости я уже не мог сосредоточиться на замечаниях, а думал только о влажных пятнах и пузырьках его слюны на дульце.

Однако музицированию сопутствовали и положительные моменты. Например – тир. Тир находился в одной остановке до музыкалки. Днем я крал мелочь из карманов верхней одежды, оставленной на хранении в вестибюлях больших учреждений, куда пробирался, рассказывая гардеробщицам липовые истории. Скажем, о том, как моя мать буквально недавно и именно в этом гардеробе потеряла ключи, кошелек или еще что-нибудь. “Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя…” мамы. Моей мамы! Я был прилично одет и глядел на них честными голубыми глазами, старательно скрывая, что трушу, потею и нервничаю. Мне было стыдно и страшно. Но так как на противостояние реальности с поднятым забралом я пока не осмеливался, то бунтовал как мог – скрытно, тайком.

Когда денег накапливалось достаточно, я выходил на остановку раньше и час напролет стрелял из пневматического ружья в ветхом, почти заброшенном тире. И был до опьянения счастлив.

Из моих музыкальных занятий ничего толкового так и не вышло. Повзрослев и научившись перечить родителям, я бросил дудение на флейте. Единственным долгосрочным последствием музыкальных экзерсисов стало отвращение к классической музыке. Мой братик с его ежедневными многочасовыми скрипичными

запилами тоже внес посильную лепту, и понадобилось лет пятнадцать, чтобы я вновь смог слушать классику без содрогания.

Зато умение стрелять пригодилось во время службы в израильской армии. Я был лучшим стрелком роты, прошел курс снайперов и получил пару наград, которыми страшно гордился. Правда, в армии я также не задержался. Как только командование стало гладить меня против шерстки, задался целью и откосил, отсидев три незабываемых месяца в психушке.

И вот что странно: как воровал с Резником, я помню ярко и отчетливо, а как служил – не помню почти совсем.

Статьи и гранты

Сила науки – в смелости и готовности признавать свое невежество.

Юваль Ной Харари

На днях в рамках междисциплинарного сотрудничества мы встречались с молодым профессором с факультета нанотехнологий. Инициатором этой затеи был я. Излишнее рвение часто толкает на опрометчивые поступки, напоминая, что каждый сам зодчий своего персонального ада.

Я всего-навсего хотел получить немного углеродных нанотрубок, которые производятся в лаборатории молодого профессора чуть ли не в промышленных объемах. Это представлялось мне примерно так: прихожу, беру склянку с наночастицами, благодарю и ухожу. Но, как водится, бесплатный сыр бывает либо в мышеловке, либо поблизости непременно околачивается какая-нибудь плутоватая лисица.

Все пошло наперекосяк с первого же шага – извещения начальства о моих намерениях. Шмуэль[3] усмотрел в этой встрече некий политический подтекст и навязался туда вместе со мной. И вот я сижу и глазею, как два профессора, словно павлины, самозабвенно распускают друг перед другом метафорические хвосты.

Молодой поминутно вскакивает и принимается метаться по кабинету, вместо хвоста воодушевленно взмахивая верхними конечностями. После каждой третьей реплики он замирает, пораженный величием собственной мысли, и, победоносно ткнув пальцем в потолок, провозглашает: “Это гениальная идея!” Затем делает предостерегающий жест, призывая не двигаться, чтобы не спугнуть вдохновение, выхватывает тетрадь и наспех конспектирует свежеиспеченное прозрение.

Минут через десять выясняется, что таких тетрадей у него две. Одна – для рядовых гениальных идей, а вторая – для сверхгениальных. Шмуэль из вежливости тоже удостаивается нескольких записей в первую тетрадь. Я на подобные почести не претендую и, скромно помалкивая, рисую в уме картину воздвижения на

[3] Во время редактуры разразился спор о том, нужно ли напоминать, что Шмуэль – это имя научного руководителя, и что Шмуэль и профессор Басад – одно и то же лицо. Господин Редактор считает необходимым напоминать и про имя, и про то, что басад – это “с Божьей помощью”, и именно поэтому научный руководитель прозван профессором Басадом.

центральной площади технионовского[4] кампуса конного памятника сего молодого ученого мужа в треуголке и смирительной рубашке.

– Я уже вижу, как будет выглядеть твоя диссертация! – внезапно объявляет он, присвоив себе очередную Нобелевскую премию и наткнувшись на меня фосфоресцирующим самодовольством взором.

Я аж закашлялся от такого хамства. Он, значит, уже решил припахать меня к своему проекту?! За какую-то склянку с парой миллилитров раствора наночастиц?!

Даже не знаю, что возмущало больше – непомерная прыть или зашкаливающий градус корыстолюбия. Я мысленно выматерился и поклялся приложить все усилия, чтобы отделаться от этого охотника за легкой наживой как можно скорее.

Приняв решение, я отвлекся и задумался об этой манере швыряться “гениальными” идеями. Подобный образ мышления и самооценки вполне типичен для среднестатистического профессора. Правда, обычно недуг ослепления собственной конгениальностью проявляется не в столь острой форме и больше смахивает на хроническое вялотекущее заболевание.

Эти недо-сверхчеловеки (я имею в виду подавляющее большинство профессоров) пребывают в иллюзии, что каждым мыслительным порывом способны творить величайшие научные открытия. Им кажется, что космос, вся вселенная, внемлет им и отзывается, нашептывая сокровенные ответы.

Едет на службу этакий недо-сверхтитан научной мысли и видит, скажем, трещину на асфальте. И эта трещина каким-то непостижимым образом задевает в нем некую струну. Внутри недо-сверхтитана все переворачивается, и разверзаются небеса.

И кранты. Начинается рецидив научной диареи. По прибытии он рвется отыскать отголосок этой снизошедшей с небес божественной трещины у себя в лаборатории. Зачастую наперекор базисным законам физики и вопреки всякому здравому смыслу.

Вот и бесподобный профессор Басад является как-то утром и принимается пилить меня Рэлеевским рассеянием. Он, видите ли, буквально четверть часа назад, стоя

[4] Технион – Технологический институт Израиля.

в пробке, любовался на небо и вспомнил, как где-то когда-то вычитал, что лорд Рэлей первым додумался, почему небо голубое[5].

– И это так здорово, – восторженно фонтанирует он, – и почему бы нам не обнаружить это явление в наших наночастицах?!

И вправду, почему? Давайте на секунду представим масштаб атмосферной оболочки земного шара, в которой происходит преломление солнечных лучей, и наночастицу. Нано!!! То есть частицу размером в несколько десятков миллиардных метра. Соотношение масштабов один к тысяче миллиардов! При такой разнице акцент смещается на совсем иные физические явления. Как-никак, одно больше другого в триллион раз! Может из-за этого триллиона?! Но нет, нет! Моего научного руководителя не смущают ни миллиарды, ни триллионы.

Настоящего профессора не остановят ни законы природы, ни результаты каких-либо экспериментов. Современный ученый не позволит таким незначительным мелочам препятствовать продвижению научного исследования в любом избранном от балды направлении.

В пароксизме научного сумасбродства Шмуэль утюжил меня Рэлеевским рассеянием недели три. Никакие доводы не помогали. Пришлось симулировать бурную исследовательскую деятельность вокруг этого рассеяния, будь оно неладно, а втихаря работать над подготовкой давно запланированных опытов, напрямую связанных с моей диссертацией.

Однако Шмуэль не унимался. И под конец я понял… В таких вопросах я туго соображаю. Воспринимаю все слишком буквально… Мне казалось, что в случае невозможности получить желаемые результаты, остается лишь создавать видимость деятельности, терпеливо ожидая, пока начальство одумается. А надо было не деятельность симулировать, а сделать вид, что есть результаты.

– Вы правы, Шмуэль, – покорно доложил я. – Рэлеевское рассеяние, действительно, есть. Но его влияние незначительно. И вся эта история с рассеянием в большей степени относится к изготовлению наночастиц, нежели к их применению.

---

[5] Британский физик лорд Джон Рэлей в 1871 году установил, что интенсивность рассеяния света зависит от длины волны. Не будь рассеяния, небо выглядело бы днем точно так же, как и ночью, а солнце – ослепительно ярким белым пятном. Но из-за неоднородной плотности воздуха происходит рассеяние, и синий (коротковолновый) свет рассеивается гораздо сильнее других цветов и придает небу голубой оттенок.

Шмуэль пригорюнился, заботливо круговыми движениями огладил живот, как-бы прислушиваясь к голосу чрева… И неожиданно впал в диаметрально противоположную крайность помрачения рассудка.

– Зазорно тратить время на пустяки! – безапелляционно бухнул профессор Басад и разразился наставительной речью о важности отделения зерен от плевел, только в иудейских формулировках, с цветастыми цитатами из Торы и Талмуда[6].

Исчерпав красноречие, он обмяк, черты его лица потеряли резкость, он снова огладил пузо и побрел ритуально омывать руки, кошерно обедать и совершать дежурную медитацию в синагоге. А эпопея с лордом Рэлеем была на этом закончена и забыта.

Однако вернемся к молодому профессору – нашему новоявленному Нобелевскому лауреату, который продолжает пузыриться феноменальными измышлениями и искрить новомодными терминами. Его потуги не пропали даром, и одна из выпущенных наудачу стрел случайно угодила в цель – в размягченный псевдонаучным словоблудием мозг профессора Басада. И все. Наступает умопомрачение. Шмуэль, как дурень в погремушку, вцепляется в слово "плазмон" – термин из квантовой физики, никак не относящийся к области наших, с позволения сказать, научных изысканий.

Не будем на этом останавливаться. Поверьте: что такое плазмон, не интересно даже самому Шмуэлю. Ему просто слово понравилось. Остается надеяться, что профессор Басад вскоре забудет про плазмон и не станет превращать его в тему для очередной арии из той же оперы, как Рэлеевское рассеяние.

Да и о каком плазмоне или любом другом квантовом эффекте может идти речь, когда все, что у нас есть в качестве аппаратуры – это кухонная микроволновка и термометр?! Впрочем, прошу прощения, я обещал на этом не зацикливаться.

Натрындевшись о злосчастном плазмоне, профессор Басад откинулся в кресле, томно воззрился в призрачную бесконечность и, налюбовавшись ею, внезапно прервал возобновившийся каскад гениальных прозрений молодого профессора:

– Знаете, – он обвел нас затуманенным взором, – оглядываясь назад, я порой думаю… – Шмуэля потянуло на откровения. – Положим, ну, написал я восемьдесят

---

[6] Талмуд – основное собрание религиозно-этических положений иудаизма, возникшее вследствие канонизации и фиксации Устной Торы.

статей, – он медленно и шумно выпустил воздух из легких, – но вот что я по-настоящему сделал для науки? Для вечности?

Рецидивы хандры по вечности случаются у профессора Басада примерно раз в месяц и, за исключением редких обострений вроде Рэлеевского рассеяния, бесследно рассасываются спустя час-другой.

– Да… И зачем пишутся все эти бессмысленные статьи? – протянул молодой профессор, спеша угодить старшему коллеге.

И тут на меня накатило. То ли запредельная пафосность, то ли эта дутая задушевность, ставшая последней каплей…

– Как зачем? – ляпнул я. – Человек публикует статью, а его, как водится, никто не цитирует. – Молодой профессор нелепо дернулся, будто поправляя съехавшую набок треуголку. Это меня раззадорило: – Он не сдается, строчит еще статейку и цитирует сам себя. Но и на вторую не ссылаются. Тогда он берется за третью. Эм… – я наиграно пожал плечами, мол, я тут ни при чем, всего лишь констатирую факты. – Вот и весь секрет вечного двигателя научной публицистики.

Молодой профессор покосился на меня и уязвленно нахохлился, а Шмуэль, все еще витающий в грезах, пропустил этот пассаж мимо ушей.

А теперь суммируем весь этот разрозненный бред и выведем общую закономерность. В академической системе ценностей существуют всего две координаты: публикации и гранты. “Понты и бабки” в терминологии моего друга Дорона, которой, кстати, тоже доктор наук.

Публикации – их количество и совокупное “качество”: цитируемость, престижность журналов и тому подобное – определяют некий удельный академический вес профессора. За редким исключением, после того как человек стал профессором, он своими белыми ручками никакие статьи уже не пишет, а подписывается под публикациями аспирантов, частенько даже не вникая в детали. Таким образом, чем больше профессор набрал аспирантов и магистрантов, и чем больше из них выжал, тем выше он поднимется в глазах таких же шарлатанов от науки, как и он сам.

Гранты. Гранты – это субсидии на проведение научных изысканий. Каждый амбициозный профессор все свободное от выжимания и подписывания время посвящает добыче грантов. Эта хроническая золотая лихорадка преследует его неотступно.

Он в горячечном угаре рыщет по интернету, летает на конференции, мечется по отупляюще занудным и зачастую абсолютно непонятным ему семинарам, пытаясь разнюхать, что сегодня, а еще лучше, завтра – модно, “клево” и “прокатит”. Профессор, листающий журнал “Nature” или, скажем, “Science”, подобен светской львице со свежим номером “Vogue” или “Cosmopolitan”. Тогда как она в своей фантазии облачается в новые удивительные наряды, его лихорадит от предвкушения, как он изысканно приукрасит свое резюме, и сколько бабок под это удастся выклянчить или выжать.

Аналогию усиливает тот факт, что подавляющее число статей в элитной “научной” периодике, как и журналы известного толка, кроме сочных глянцевых картинок, не содержат никакой существенной смысловой нагрузки. И единственная информация, связанная с наукой, которую можно из них почерпнуть, – это что сегодня популярно, и за что сегодня и, возможно, завтра будут отваливать жирные гонорары.

Допустим, таковое положение приемлемо и правомерно в индустрии в условиях свободного рынка. Но академическая среда, представляющая авангард научной мысли, должна быть избавлена от потребности считаться и с переменчивыми веяниями моды, и с коммерческими трендами. А пока она больше смахивает на шутовской балаган, угодливо отплясывающий под дудку то ли финансовых структур, то ли так называемой научной прессы.

Кто из двух последних более искусно водит кого за нос, я судить не берусь. Но знаю, что пляски в шутовском балагане – не какая-то частная завихрень, свойственная исключительно моему любимому Техниону. Так, увы, функционирует большая часть мирового научного сообщества. Гранты, чтобы писать статьи, а статьи – чтобы оправдывать гранты. Гениально, правда?

Но это еще не предел. Давайте сделаем небольшую историческую ретроспективу и взглянем не на картину в макро, а на ее проявление в одной конкретной личности. Знаменитый Исаак Ньютон – столп научной мысли, величайший физик, математик, астроном et cetera. Этот Исаак Исаакович обладал пышным букетом отрицательных качеств – был фантастически желчен, мстителен и чванлив. Разве что, вопреки характерным имени и отчеству, евреем Ньютон вовсе не был, но это сомнительное оправдание.

Стремясь удержать и упрочить первенство в научном мире и заполучить сопутствующие субсидии, почести и привилегии, сэр Исаак Ньютон не жалел сил и

средств на выпуск специальных изданий своих трудов с намеренно внесенными ошибками. Кропотливо продуманными и всякий раз иными. Это “добро” рассылалось коллегам, чтобы ввести их в заблуждение и лишить возможности, основываясь на его достижениях, продвигаться дальше, казалось бы, к общей цели. Коллеги топтались на месте, теряли драгоценное время, а Исаак продолжал пестовать свое честолюбие.

Тех из своих современников, кому все же что-то удавалось, он записывал в личные враги. Параноидально преследовал и сводил счеты. Иногда даже после их смерти. Как видите, наш столп наворотил немало дел и основательно навредил науке. Возможно, все это притянуто за уши и не является прямым следствием только зародившейся в те годы системы “статьи-гранты – гранты-статьи”. Тогда остается списать такие замашки на черепно-мозговую травму, нанесенную злосчастным яблоком… Впрочем, довольно, вернемся к нынешним самодурам.

Вероятно, перед любым профессором рано или поздно встает дилемма между истинной наукой и модным поветрием. И каждый находит компромисс, порой выкраивая из бюджета малые крохи на что-то настоящее и идя на двойную сделку с собственной совестью. Но профессора Басада совесть не тревожит. Он относится к той породе верующих, которые убеждены, что сопричастность к религии освобождает их от нравственных обязательств.

Область, в которую его стараниями все больше сворачивает моя исследовательская деятельность, вычитана в таком же модном журнале. Профессор Басад, не стесняясь, выбрал нанотехнологии, в которых он, как и я, ни черта не смыслит. Мои попытки его урезонить выслушивались с нарастающим раздражением, и вскоре профессор Басад объявил, что это вопрос давно решенный.

От напоминаний о том, что мои занятия нанотехнологиями – явление временное, и как только пройдет аврал, мне обещано вернуться в знакомую сферу, – профессор Басад поначалу увиливал. Когда же я стал настаивать, он досадливо разъяснил, что научное изыскание – это не прогулка в парке из известной точки А в заранее определенную точку Б. “Научное изыскание – это приключение! – втолковывал он мне, словно ребенку, – Мы – ученые – стремимся туда, куда ведут нас результаты, а не какие-то вздорные прихоти. Стремимся всеми силами, и не жалуемся. Не ищем отговорок и легких путей”.

Интересно, какие такие результаты могли бы (даже чисто гипотетически) завести кого-либо из компьютерного моделирования в нанотехнологии. Иначе говоря, из

прикладной математики в химию. Для пропорции это примерно как если бы мы начали с нанотехнологий, а закончили литературой. И в качестве диссертации подали этот роман.

Мне еще только предстоит узнать, что года полтора назад Шмуэлю удалось выбить деньги на нечто связанное с наночастицами. И теперь он проворачивает затейливую махинацию, постоянно перекраивая сферу моих исследований так, чтобы она одновременно покрывала уже полученный грант и затрагивала парочку будущих. Худшим вариантом для меня будет тот, в котором он получит их все.

Заявки на новые гранты профессор Басад без зазрения совести стряпает в сфере тех же нанотехнологий. Хотя, насколько я могу судить, знаний в этой области у него существенно не прибавилось. Но к чему знания? Сам факт того, что бабки на это ему уже прежде давали, вселяет в него уверенность в собственных силах. Тут стоит уточнить: силы нужны не для самих исследований, а для того, чтобы заставить меня их провести. Освоить в ударном темпе область, в которой я не разбираюсь и разбираться абсолютно не стремлюсь. Но его это не волнует. Моральный компас у Шмуэля атрофирован.

– Если нам будут платить за то, чтобы мы танцевали на столах, – любит повторять профессор Басад, – будем танцевать на столах.

Подался на десяток лишь бы каких грантов, получил один-два, – и по накатанной. Годичные отчеты о расходах, рапорты о проделанной “работе”, выжимание статейного сока из аспирантов, ритуальное омовение рук, обед, молитва в синагоге и вечный поиск новых субсидий. Прошения, внушения и бумажки, бумажки, бумажки. И все, разумеется, с Божьей помощью.

Куда же без нее…

Раз уж я не удержался и затеял огульное обличение всех и вся и срывание опять же всех и всяческих покровов, то доведу эту линию до логичного завершения. Да, я утверждаю, что система продажна. И это плохо, ибо наука не может позволить себе быть продажной. Даже не из морально-этических соображений… кого они когда-либо по-настоящему волновали? …а из практических. Это не только неэффективно, но и пагубно с долгосрочной, стратегической точки зрения.

Многие важнейшие открытия не имели в свое время никакого коммерческого применения. Да что там, коммерческого, – зачастую никакого практического

применения вообще… И только спустя долгие годы привели к технологическим прорывам или даже открытию целых областей познания.

Банальнейший пример – электрон. Об электроне грезили еще в Древней Греции, откуда и происходит его название. Но открытие электрона принадлежит Эмилю Вихерту и Джозефу Джону Томсону. И произошло это знаменательное событие на рубеже XIX и XX веков. Не буду преувеличивать: оно не осталось незамеченным уже тогда, и спустя почти десять лет Томсон стал лауреатом Нобелевской премии. Но транзистор изобрели только в 1947 году – ровно через полвека после открытия электрона. И лишь затем началось развитие микроэлектроники – основной области современной электроники.

Но тогда – в далеком 1897 году – для многих электрон был забавным курьезом. Чем-то вроде страшилки про антивещество, с которым, несмотря ни на что, и по сей день экспериментируют сбрендившие физики. А основная экономическая выгода, каковую, в меру моего скромного понимания, пока удалось извлечь из антиматерии – это использовать ее в качестве элемента декорации какого-нибудь научно-фантастического сериала.

Однако так же, как нам сейчас относительно антивещества, так же и им тогда было вполне резонно настойчиво поинтересоваться – кому он, нафиг, нужен? Зачем этот электрон?

И Томсон наверняка что-то отвечал. И настаивал на своем, вопреки твердолобому консерватизму и скепсису современников. Но даже он, будучи незаурядным ученым и не дожив до транзисторов – не то что до нынешней электроники, – не мог вообразить и малой толики последствий своего открытия.

А что можем ответить мы, люди XXI века, воспринимающие интернет и виртуальную реальность как нечто само собой разумеющееся. Целый пласт не просто знаний, а повседневной жизни каждого из нас. Новое, бесконечное, почти ничем не ограниченное пространство бытия, способное вместить, и уже сегодня вмещающее многие аспекты существования всего человечества. Целая вселенная, выросшая из электроники, начавшейся с маленького, непонятного и никому не нужного электрона.

Вот и получается: там – электрон, тут – антиматерия, и над всем этим царит система “статьи-гранты – гранты-статьи”, сковывает науку, превращая профессора то ли в частного предпринимателя, то ли в функционера со всеми вытекающими

пагубными последствиями… Я ерничаю и издеваюсь, а что они могут в таком стреноженном состоянии?!

В идеале профессор не должен думать не только о том, как и кому продаться, ни даже о том, где практически применима область его исследований. И из того, что мы пока не нашли прикладного использования антиматерии, вовсе не следует, что те физики маются ерундой.

Любая научная находка ценна сама по себе. Любой осколок знаний содержит неотъемлемую внутреннюю самоценность и непредсказуемый потенциал. Ведь чем дальше прогрессирует наука, тем больше растет осознание масштабов еще неизведанного. И с одной стороны, именно в нем – в неизведанном – будущее, а с другой – жажда сиюминутной выгоды, руководствуясь которой планировать и снаряжать экспедиции к черту на кулички не просто глупо и абсурдно, а невозможно…

Невозможно, но нужно. Нужно. Жизненно необходимо. И поэтому в планировании и снаряжении финансовые аргументы должны играть куда более скромную роль.

Если мы, конечно, хотим, чтобы научная среда действительно занималась наукой…

Школа или евреи и русские

Как меня пробрало-то с наукой… У моего психоаналитика Рут наверняка нашлось бы что сказать, прочитай она прошлый фрагмент. Но теперь давайте о другом. О сокровенном, о живом.

Вскоре после того, как мне исполнилось шесть лет, я был отправлен, чтобы не сказать – препровожден, в школу, имевшую, как большинство советских учебных заведений, удручающе прозаичное название – “Средняя школа номер 75”. Где-то к середине четвертого класса мои однокашники обнаружили, что они преимущественно русские, а я как-то невпопад – еврей.

Нежданно пробудившееся и болезненно формирующееся национальное самосознание требовало подвигов и жертвоприношений. А мое неумение в нужный момент стушеваться и промолчать служило прекрасным катализатором. В результате я стал регулярно получать по шее. И получал года два, пока мои родители в начале девяностых не увезли меня в Израиль.

В Иерусалиме я угодил в школу с более поэтичным названием – “Зив” (что в переводе означает – сияние), где оказался на тот момент единственным “русским”. Я был чужой, чуждый и странный. На первой переменке новые одноклассники столпились вокруг моей парты, словно у вольера в зверинце. Они разноголосо галдели на непонятном иврите и тыкали в меня пальцами. Кто – издали, а некоторые, осмелев, и в прямом смысле. Должно быть, им было любопытно, каковы “русские” на ощупь.

Повальный антропологический интерес к моей персоне длился считанные дни и почти сошел на нет к концу недели. Но охладели ко мне не все. В моей, как тут выражаются, абсорбции – интеграции в новом обществе – решила принять ударное участие шайка “марокканских” хулиганов под предводительством изобретательного отморозка Ицика. Позже я узнал, что сефарды (евреи – выходцы из стран Востока и Африки) склонны причислять себя к ущемленным слоям общества относительно ашкеназов – выходцев из Европы. И потому вечно обиженные сефарды падки на любую возможность восстановления социальной справедливости, среди прочего и путем рукоприкладства. Особенно в случае численного превосходства.

Ицик (краткая форма имени Исаак) был фигурой незаурядной и, несмотря на непримиримую вражду, не уставал поражать мое воображение. На большой

перемене он любил выталкивать парты из окон третьего этажа на головы резвящихся во дворе школьников или метать принесенные из дома шпатели в зазевавшихся младшеклассников. Полное отсутствие каких-либо тормозов завораживало меня и, вкупе с невероятным везением, из-за которого его проделки оканчивались без телесных увечий, внушало невольное восхищение.

Он заливал строительным клеем столы и стулья учителей, и когда мы, в ужасе затаив дыхание, ждали реакции очередного незадачливого преподавателя, разражался нечеловеческим гоготом, задыхаясь, икая и булькая. Пристрастие Ицика к стройматериалам и их неоскудевающий запас наводили на мысль, что его отец работает прорабом. Как-то на выходных он ухитрился забетонировать парадный вход и пожарные выходы, чем обеспечил всем школьникам свободный день.

Фантазия Ицика была неисчерпаема, однако в своей неустанной и многосторонней деятельности он не забывал и меня. Общение с русскими на тему моего еврейства так и не привило мне навыков помалкивать и не лезть на рожон, и теперь я регулярно огребал от Ицика и компании, но уже по поводу того, что я “русский”. Сам по себе Ицик был заморыш – соплей перешибешь, – но из-за неуемного темперамента и преданной группы поддержки в одиночку с Ициком и Ко было никак не совладать.

Мое упорство в неуклюжих попытках огрызаться на их дежурные задирки только подливало масло в огонь. Не то чтобы я так уж умел или хотел драться, но трусливо держать язык за зубами было еще унизительней.

Чем больше я храбрился и ерепенился, тем больше их раззадоривал. И поэтому в забавах Ицика я не всегда был лишь сторонним наблюдателем, а нередко становился невольным участником. Точнее, потерпевшим.

Мои мытарства закончились неожиданно и уж как-то очень по-киношному. Первого сентября на третьем году учебы в этом “Сиянии” мой одноклассник Нир объявил, что вызывает любого из нашей параллели на “честный поединок”. Нир был веселый и харизматичный. Он профессионально занимался водным поло, обладал сказочно атлетическим телосложением, широкой обаятельной улыбкой и, что особенно подкупало, будто не осознавал своего явного превосходства – никогда не зазнавался, со всеми держался дружелюбно и просто. Этого рубаху-парня нельзя было не любить, а девчонки так и вовсе млели от него все без исключения.

Рассчитывать на победу над таким соперником не приходилось, да я и не рассчитывал, но сразу понял, что это мой шанс, и стал единственным, кто осмелился принять вызов. Следующие двадцать минут были довольно предсказуемыми и ощутимо болезненными. Нир лихо отмутузил меня по полной программе на глазах у всей школы. Но я, в некотором смысле, выстоял – не победил, конечно, но сопротивлялся до конца.

Последствия этой потасовки превзошли все ожидания. Нир принял меня в свою компанию, что существенно повысило мой статус и положило конец аутсайдерской изолированности. У меня появились друзья. Девочки стали обращать на меня внимание. Это было приятно и тешило мое уязвленное самолюбие. Хотя, будучи запуган новым обществом и языком, на котором изъяснялся через пень-колоду, предпринять что-то конкретное по поводу девочек я так и не отважился.

Зато Ицик ко мне охладел и будто не замечал меня вовсе. Видно, его чуткое сердце не позволяло делить предмет своей привязанности с кем-либо еще.

Позже я попал в совсем другую школу – при Иерусалимском университете – для прилежных девочек и мальчиков. Там все было иначе. Во-первых, туда же поступил мой друг и компаньон по воровству – Артем Резник, благодаря алкогольным дебошам отчима уже порядком натасканный в рукопашных боях в ограниченном пространстве. Во-вторых, нас было семеро “русских”, а семеро – это банда. И дело далеко не только в численности, а в том, что возникло товарищество, общность, соратничество… И в малознакомом и еще чуждом окружении, наконец, появились свои.

И в-третьих, физическое противостояние стало не так актуально. Однако не совсем и не сразу. В каждой параллели среди двух превалирующих типажей – девочек-припевочек и мальчиков-одуванчиков – имелся класс шеферов. Слово “шефер” (ударение на первый слог) означает – красота или, точнее, краса. На деле, за этим изящным политкорректным фасадом скрывалась программа для проблемных подростков – тех, кого уже столько раз исключали из других школ, что больше этих “красавцев” никуда не принимали.

Руководство привилегированной школы таким макаром убивало целое “стадо” зайцев. Закаляло нас – маменькиных сынков и папенькиных дочурок, перевоспитывало подрастающее поколение мелкотравчатых негодяев и заодно активно пиарилось, снимая любые подозрения в социоэкономической дискриминации их приемной комиссии.

Как бы то ни было, первые месяцы Красавцы не покладая рук бодрили и закаляли нас, а мы – преимущественно наша банда – небезуспешно перевоспитывали их. К середине года между враждующими сторонами восстановился полный консенсус и, как тогда говорили, мир, дружба, жвачка. Причем до такой степени, что, когда в следующем сентябре прибыла новая орава этой отборной шпаны, мы и наши Красавцы уже выступали единым фронтом, и вместе быстро привели новичков к общему знаменателю.

Однако мордобои и отстаивание чести в школьных коридорах, надежно сплотившие нашу небольшую компанию, были не главным. Имелись вещи и поважнее. Например, чемпионат по мини-футболу. Сборная класса состояла в основном из “русских”. Триумфально шагая от победы к победе, мы быстро завоевали первенство школы. Но во втором году уступили его тем самым новым Красавцам, которым к тому моменту уже нанесли сокрушительное поражение в коридорах, туалетах и темных закутках.

Эта шобла хулиганья разгромила нас практически всухую. Помню нашего вратаря Рони, героически выстоявшего до конца, несмотря на расквашенную на первых минутах физиономию и полную беспомощность всей команды. Но по-настоящему выделялся нападающий Вадик, чьей смелостью, бесшабашностью и некой внутренней свободой я откровенно восхищался. Голов он забил не много, но и без того вполне оправдал роль нападающего. Под конец Вадик без особого повода подкосил одного из соперников, а когда тот вскочил и начал возмущаться, засветил ему в рожу, тем самым затеяв побоище, стремительно переросшее во всеобщую свалку. Матч мы продули, но все же отыгрались как могли, да и Вадик, у которого вечно чесались кулаки, отвел душу.

Его зеленые глаза задиристо блестели, искрились задорно и хулиганисто. Еще Вадик неподражаемо матерился – русским матом на иврите. Ма-бля кара-бля?![7] – вопил он, своpачивая челюсть какому-нибудь очередному Красавцу. В любых потасовках Вадик всегда бил первым – без раскачки и абсолютно не задумываясь ни о последствиях, ни о соотношении сил. Мне самому он великолепно впечатал по зубам на первой же неделе. Так, собственно, мы и познакомились. Вообще, получить от Вадика по зубам мог кто угодно. С легкостью необычайной.

И так же легок и стремителен он был во всем остальном. Его хохот был самым заразительным, насмешки – самыми дерзкими и хлесткими, а приключения – самыми лихими и отчаянными. Вадик даже шоколад ел так, как я и вообразить не мог. Я надкусывал, обсасывал, мусолил по кусочку… А он с хрустом отхватывал

[7] Ма кара?! (ивр.) – Че такое?!

кусман с полплитки, вгрызался в еще несколько кубиков и жевал с масляным кошачьим взглядом, при этом ухитряясь каким-то образом ухмыляться.

Интересно, что теперь с ним? Где он сейчас, бродяга?.. Хоть я уже знаю, что жизнь с особым сладострастием ломает самых удалых и отважных, как-то теплее и легче воображать, что в глубине его глаз еще плещутся отсветы прежнего задора.

Те, кому импонируют такие натуры, наверняка догадываются, что Вадик с его подвигами – тема неиссякаемая, однако вернемся к основному повествованию. В школьном подвале таилась комната шахмат, ключ от которой имелся только у “русской” компании. Мы пропадали там целыми днями, и выкурить нас оттуда не удавалось ни учителям, ни директрисе. Гулкий коридор и жутчайшая акустика заблаговременно оповещали о попытках подкрасться к нашему убежищу. Затаившись подальше от двери и сдавленно хихикая, мы игнорировали любые угрозы и увещевания.

Сегодня та пора вспоминается так, будто мы только и делали, что чудили в школьных коридорах да катались по полу шахматной комнаты, угорая от смеха. Но и в шахматы мы там тоже играли. Днями напролет и с безумным азартом. Один из ребят – звали его Павлик – был мастер спорта по этому делу и, подтянув всех до базисного уровня, познакомил нас со Шведскими шахматами.

В Шведки играют два на два и на двух досках. Напарники по команде получают разные цвета. Снятая у противника фигура передается партнеру, который может выставить ее в качестве хода. Блицы Шведок, отыгрываемые нами десятками в день, мало походили на общепринятое представление о шахматах, как о некоем вдумчивом и сосредоточенном времяпрепровождении. Это был залихватский разгул и сущая вакханалия. Мы, ухахатываясь до коликов и до одури, резались в Шведки с таким упоением, что вообще не вполне понятно, как и почему всю нашу честную компанию не выперли взашей из этой элитной школы.

Нам было хорошо в этом маленьком дружном коллективе. Все как на подбор были замечательные ребята, и каждый вносил свой вклад в общее безумие. По окончании школы я поступил в универ, переехал в другой город и выпал из этого круга общения. Да и их с годами разметало кого куда,.. но это уже совсем иная история, а пока пора закругляться и напоследок рассказать о Ницане.

В конце выпускного года мы поехали на недельную… (не знаю, как назвать это мероприятие) экскурсию или поход. Привезли нас в какую-то невообразимую дырень – поселок в пол-улицы в пустыне Негев на границе с Египтом. Разместили

в довольно обустроенных строительных бытовках с мощными кондиционерами. Помню, на одной из бытовок во всю стену было выведено русскими разлапистыми буквами “Жопа мира”. Очень точная характеристика.

В этой жопе под названием Ницана нас водили в пешие походы по окрестностям и в качестве исправительно-развлекательной программы гоняли, как это называлось в Союзе, “на картошку”, а в данном случае – на банановую плантацию. Сбор урожая при сорокапятиградусном пекле мне, мягко говоря, не понравился. Интересы школьного руководства, затеявшего воспитание посредством сельскохозяйственного труда не из одних педагогических соображений, а чтобы заодно сделать поездку самоокупаемой и снова укокошить сразу целое стадо зайцев, меня заботили мало. А то, как по этому поводу выразился Вадик, цитировать, пожалуй, не стоит.

На второй день “русские” единодушно похерили все общественные мероприятия, кроме кормежки. Днем в жару спали, а в остальное время играли в карты и всячески дебоширили. Выбравшись под покровом ночной прохлады в разведку, мы с Артемом отыскали на отшибе за хозяйственными постройками неказистый ларек, притулившийся к длинной ограде. Вскрыть нехитрые запоры оказалось легче легкого. Внутри полки ломились от сладостей и всяких ништяков, морозильные камеры были переполнены мороженым, а холодильники – пивом.

Из этой пещеры Алладина мы таскали добро охапками, угощая не только нашу компанию, но и всех подряд. Не сказать, чтобы от переизбытка альтруизма, скорее из щегольства. Бравировать ловкостью и безнаказанностью для нас было поважнее мороженого, да и, честно говоря, пива тоже.

В один из следующих набегов на ларек мы обнаружили заднюю дверь и за ней калитку в заборе из рабицы, затянутом грубой синтетической тканью. Взломать ржавый замок удалось не сразу. Я поранился какой-то дурацкой железякой и, шипя и слизывая кровь, уступил место Артему. Наконец замок поддался, цепь с предательски громким лязгом соскочила, и перед нами заискрился бассейн с лужайкой сочной травы. Потом – на рассвете – эта зелень буквально резала глаз в контрасте со въевшимся в сетчатку песочно-желтым выжженным ландшафтом.

С тех пор ночи мы проводили в этом оазисе. Валялись в густой траве и купались голышом в пробирающей ознобом и мелкими мурашками воде, словно вобравшей холод выплеснувшегося неба.

Небо… Оно серебрилось россыпями звезд, всполохами туманностей и сгустками мерцающего света. Невероятно глубокое и объемное, как бывает только в пустыне.

Я переворачиваюсь на спину, раскидываю руки и покачиваюсь на водной ряби. И смотрю, заворожено вглядываюсь в космическое пространство, обрушивающееся на меня со всех сторон.

И я тоже падаю в него, тону, растворяюсь…

И вместе со мной каким-то причудливым образом растворяется все – взлеты и падения, потери, радости, мелочные обиды и несбывшиеся наивные мечты… А сегодня уже все так запутано, что не растворить ни в бассейне, ни в море, ни даже в океане. И чем труднее и реже удается урвать мимолетные, но пронзительные и чистые мгновения, тем ярче вспоминаются наши прежние школьные сумасбродства.

Магистрант, ученый и телохранитель

В вихре дерьма, неуклонно засасывающем всю мою учебу в аспирантуре, есть крохотный закуток затишья – наша подсобка при лаборатории. В этой комнатушке ютятся еще трое страдальцев: Тревожный Магистрант, Заправский Ученый и Телохранитель премьер-министра.

Наиболее выпуклой личностью, если слово “личность” применимо к человеку, выныривающему из сутолоки собственных страхов лишь затем, чтобы мгновенно и без остатка раствориться в окружающей суете, является Тревожный Магистрант. Долговязый, патлатый… во всяком случае был патлатым, пока не познакомился со второкурсницей, на первом свидании обронившей, что мужчине длинные волосы не к лицу. И он тотчас подстригся почти под корень.

– Моя подруга не разрешает мне разговаривать по телефону… – оправдывается уже не патлатый, но ничуть не менее тревожный Магистрант, продинамив довольно важный звонок.

Эта фраза настолько меня озадачивает, что я забываю, зачем его искал. От выражения “не разрешает” в устах тридцатилетнего дылды в голове начинается фейерверк, и я на несколько секунд утрачиваю связь с действительностью.

Сойдясь с новой избранницей, Тревожный Магистрант стал стремительно терять остатки рассудка и пребывал в постоянной дихотомии между щенячьим восторгом и всепоглощающим ужасом.

– Она меня бросит. Бросит! Я знаю, она бросит… – причитает он, мечась взад-вперед по лаборатории в лиловых силиконовых перчатках и защитных очках. – Она бросит меня. Бросит. Бросит! – Он выскакивает в коридор, распугивая студентов. – Я знаю. Знаю! Она непременно бросит!!!

Если не ошибаюсь, где-то в окрестностях Парижа хранятся эталоны метра, килограмма и прочих единиц меры. Я бы туда и нашего Магистранта поместил – как эталон подкаблучничества.

– Мы начинаем жить вместе! – врывается он ранним октябрьским утром, вопя и сияя, как неотложка. – Она согласилась. Со-гла-си-лась! Поздравьте меня! –

жизнерадостный до тошноты, он скачет по комнате, норовя обнять нас всех разом.
– Мы! Мы! Мы будем! Жить! Вместе!
– Когда? – уточняет рассудительный Телохранитель премьер-министра.
– В августе!

Познакомился Магистрант с этой девицей недели три назад, и тотальность умопомешательства товарища по цеху уже внушала нам нешуточные опасения.

– А-а, в августе… – облегченно выдыхаю я. – Ну, тогда может еще обойдется. Глядишь, еще успеете сто раз расстаться.

Обескураженный романтик вытаращился на меня и остолбенел, будто на его глазах я зарезал и съел младенца. К господствующим общественным ценностям Тревожный Магистрант относится как к непререкаемым истинам и даже представить не может, что ему "разрешается" иметь по их поводу личное мнение. Такой же трепетный пиетет он питает к инстанциям, организациям и людям, наделенным каким-либо авторитетом. К профессору Басаду – в первую очередь.

Мелкий подхалимаж, заискивающие улыбки, угодливое поддакивание и готовность залиться смехом при легчайшем намеке на шутку. А профессор Басад постоянно дрючит его без всяких причин – чисто для забавы. Конечно, Магистрант сам напрашивается. Но Шмуэль настолько к нему жесток, что каждый из нас троих, несмотря на субординацию, уже пытался урезонить профессора.

Все впустую. Минимум раз в день перед обедом профессор Басад заходит, с порога пинает Тревожного Магистранта и лишь затем приступает к ритуальному омовению рук. Для него эта издевательская профилактика уже превратилась в неотъемлемую часть церемонии приготовления к приему пищи. Своеобразная методика возбуждения аппетита и стимуляции желудочно-кишечного тракта.

Заправский Ученый совсем иной. Зовут его Ор, он безмятежно спокоен, в любой ситуации сохраняет чувство юмора и имеет привычку заменять существительные в предложениях словосочетанием "fuckin' shit"[8]. Особенно забавно в таком изложении звучат описания экспериментов. В полдень Ор неизменно медитирует. Прямо посреди нашего бедлама надевает наушники, закрывает глаза и отключается.

Еще Заправский Ученый любит во время работы издавать разнообразные звуки. Я, кстати, тоже сам с собой разговариваю, охаю, мычу, кряхчу. Будто не на клавиатуре

---

[8] Fuckin' shit (англ.) – гребаное дерьмо.

печатаю, а дрова колю. И он точно так же. Мы с ним сидим плечом к плечу, и наш бурный научно-исследовательский процесс сопровождается бессвязным двухголосым звуковым рядом.

Ор тоже подтрунивает над Магистрантом. Каждый приступ смятения нашего коллеги он встречает чем-нибудь еще более циничным, чем я. Порой это несколько отрезвляет Тревожного Магистранта, и тогда он рассыпается в благодарностях. По его словам, мы помогаем ему сохранять остатки мужской натуры. И он просит продолжать, чтобы не дать ему окончательно размякнуть.

Теперь о том, почему я прозвал Ора “Заправским Ученым”. Этот эпизод произошел как-то под конец дня, когда суета уже улеглась, труженики науки стряхнули послеобеденный анабиоз, отделались от будничных хлопот, и их помыслы воспаряют ввысь – прочь от досужих дум к чертогам цитадели истинных знаний и мудрости.

Итак, Ор обрабатывает результаты. Точнее, он их уже обработал, вывел на график и теперь силится узреть в нем искру некой высокой истины. Растянет одну ось координат, посмотрит так и эдак, сожмет другую, пристально вглядывается. Потом первую сожмет, вторую растянет.

Я исподтишка наблюдаю. В основном за Ором и его мимикой, на графике интересного мало – наклонная прямая ожидаемых теоретических значений и точки замеров. Но эти точки, при всем желании и моем дружеском расположении к Ору, крайне смутно напоминают искомую наклонную. Общая тенденция результатов больше смахивает на умеренный белый шум вокруг постоянного значения.

Помните рассуждение об абсурдности системы “статьи-гранты – гранты-статьи”? Вот и Ор придерживается мнения, что это нелепо и неэффективно. Но вопреки и наперекор он толкает меня локтем и предельно серьезно спрашивает:

– Скажи мне как ученый, что мы видим на этом графике? – очередной щелчок мышки деформирует изображение в вертикальном направлении. Ничего существенно не меняется. – Есть ли тут зародыш чего-то значительного? Есть ли проявление явления?
– Эм… – расстраивать его не хочется, но и лукавить тоже. – Прости, вижу ли я физическое явление? Или предлог для второй статьи в твою диссертацию?

Он криво усмехается. Заправского Ученого так просто за живое не задеть, и я продолжаю:

– Тогда – да, еще как! Я, как ученый, ответственно заявляю: тут не то что зародыш, тут прям… грозди статей рвутся на свет из каждой точки! Главное, налепи цвета поярче и какую-нибудь объемную штуковину с драматической перспективой… скажем, столбчатую гистограмму или такую, как ее… радиальную сеточную диаграмму забабахай, чтоб все прям ошалели. И это… не миндальничай – попестрее да посочнее.

Ор несколько минут с досадой разглядывает график, потом звонит будильник, он быстро сохраняет пару вариантов чуть по-разному деформированных результатов и переходит к следующему делу. У него все строго по часам. На все стоят таймеры и напоминалки. Без педантичного фанатизма, но четко и продумано. Ни одна минута не пропадает зря. Работать в обществе такого собранного и уравновешенного человека – редкое удовольствие.

Самый нормальный из нас – Телохранитель премьер-министра. Он родился и вырос в кибу́це[9]. Выходцам из кибуцев – этих архаичных инкубаторов социалистической утопии – свойственна детская беспечность и безответственность, забавно сочетающаяся с налетом горделивого ощущения, что они и есть новая соль Земли Обетованной. По сути, изначально кибуц был дальним родственником советского колхоза. А сегодня там уже особо не перетруждаются и, пользуясь былой славой дедов и прадедов – сионистских поднимателей целины, давным-давно живут припеваючи за счет государственных субсидий.

Сходство колхоза с кибуцем весьма условно. Будто один из родственников так и остался в глуши какого-нибудь Мухосранска, а второй укатил кружным маршрутом в Швейцарию, но, заплутав, увяз на полпути в наших песках, отогрелся, остепенился и с годами превратился в цивильную и благоустроенную акционерную ферму. Хоть и с некоторыми, свойственными коммуне, перегибами.

Телохранитель премьер-министра – не типичный кибуцник. Он не обладает пышным букетом кичливого инфантилизма, и действительно после армии был телохранителем, и действительно премьер-министра[10]. А теперь он заканчивает магистратуру. Телохранитель, как и подобает, железобетонно невозмутим, собран и немногословен. Однако стоит сойтись с ним поближе, и из-за сурового фасада проступает остроумная и легкая натура. Вместе с тем он отличается широким кругозором и гибким подвижным умом. Но для нашего научного руководителя у него

[9] Кибуцы в своих истоках были сельскохозяйственными коммунами, характеризовавшимися общностью имущества и равенством в труде и потреблении.
[10] Главой государства в Израиле де-факто является премьер-министр.

припасен цепкий профессиональный взгляд, и я подозреваю, что профессор Басад его побаивается. Во всяком случае, к Телохранителю Шмуэль никогда не обращается первым.

Необходимо дать небольшое пояснение, места которому все никак не находилось. У нас, по примеру США и Канады, существуют три уровня высшего образования: бакалавриат, мастерат, аналогичный российской магистратуре, и докторат. Докторат – это высшая степень, полное название Doctor of Philosophy (Ph.D. – от латинского philosophiae doctor), то есть доктор философии. Скажем, доктор философии по физике или доктор философии по философии. Тут можно бы, как я люблю, развести целую философию по поводу того, что у нас доктор в любой области – он доктор философии. Но мы так поступать не станем, а вместо этого договоримся о терминах.

Чтобы передать реалии, в которых разворачиваются события романа, не обременяя текст странными производными от слов “докторат” или “Ph.D.”, я буду использовать смешанную терминологию. Мастерат будет называться магистратурой, обучение на Ph.D. – аспирантурой, а доктор философии (обладатель степени Ph.D.) – просто доктором и иногда доктором наук, чтобы не путать доктора со врачом, а доктора философии с доктором философских наук. Строго говоря, это неточные определения, но они избавят нас от лишней путаницы и диковинных словесных нагромождений.[11]

Возвращаясь в подсобку при лаборатории, сидим мы там как-то с Телохранителем, работаем – в меру сил подгрызаем гранит науки. Тут врывается Тревожный Магистрант и выпаливает:

– Там такая телка… – он задыхается от переизбытка эмоций. – Такая телка! На факультете. Новая. Я только что видел. Вы обязаны посмотреть.
– У тебя же подруга, – напоминает ему Телохранитель.
– Да нет, что вы! – Тревожный Магистрант оскорблен в лучших чувствах. – Я же не для себя, просто она такая… – он снова не находит слов. – Вы должны срочно посмотреть.

Предложение не вызывает ажиотажа у Телохранителя. Он женился пару лет назад и, судя по всему, вполне доволен.

– Ян! – Магистрант бросается ко мне. – Но ты-то чего сидишь? Там же такая… такая телка пропадает!

[11] Все это, как вы, возможно, догадываетесь, затеял Господин Редактор.

Видимо, мой холостяцкий образ жизни в его понимании предполагает готовность волочиться за каждой юбкой. Самого себя, с момента получения от подруги согласия на совместное проживание, Тревожный Магистрант воспринимает как глубоко семейного человека.

– Ты должен выебать новенькую, – исступленно настаивает он, несмотря на мои попытки свести все в шутку. – Ну пожалуйста, только глянь на нее…
– Погоди, я не понимаю. Она нравится тебе, а ебать должен я?
– Ну что тебе стоит, – Магистрант не в состоянии уловить иронии, – только глянь, – продолжает канючить он.
– И вправду, Ян, – Телохранитель с усмешкой оборачивается ко мне: – Не кобенься, это вопрос чести. Надо поддержать реноме лаборатории.
– Вот именно! – воодушевляется Тревожный Магистрант. – Ты должен ее выебать. Просто обязан.
– Справишься, – весомо резюмирует Телохранитель, – добавлю тебе десять баллов к оценке[12].

Он ассистент профессора на курсе нашего научного руководителя, куда тот засунул меня насильно (правда, в качестве вольнослушателя). Но это отдельная и не самая приятная тема, к которой нам, возможно, придется вернуться. А пока не будем о грустном. Тем более что мне не терпится рассказать еще случай с теми же действующими лицами и в тех же декорациях.

Тревожный Магистрант готовится к экзамену по физиологии. Как и все прочее, делает он это импульсивно, сумбурно и бестолково. Запутавшись в конспектах, принимается смотреть лекции на Ютубе и, начав с яйцеклеток, неведомым путем попадает на анимированную пропаганду защищенного секса для транссексуалов.

Увиденное приводит его в ужас. Насколько мне удается уразуметь природу этой реакции, в его голове еще кое-как укладывается гипотетическое существование транссексуалов. Но вот чтобы так – в открытую – снимать о них и для них мультики в диснеевском духе с романтическими переливами арф?!

Досмотрев и не в силах вместить в сознание, он запускает ролик повторно. На третьем просмотре мы с Телохранителем уже дружно гогочем со стонами и непроизвольными всхрюкиваниями.

[12] В школах и ВУЗах Израиля используется 100-балльная система оценок.

Лейтмотив транссексуальности как повод для приколов над Тревожным Магистрантом всплывает в разговорах до конца дня. Но нашему морально пострадавшему товарищу так и не удается оклематься от полученных впечатлений.

Назавтра является Заправский Ученый, пропустивший просветительный экскурс в физиологию транссексуалов.

– Пока ты там в больнице возился с пробирками, – радостно приветствую его я, – мы приняли решение, – кивок на Телохранителя и Магистранта, – сделать операции по смене пола.
– Чудесно! – в тон мне отзывается Заправский Ученый. – Буду иметь вас всех троих. Поочередно.

Берлинская стена в моей голове

Понятие “русский” в Израиле, да и во всем мире, не имеет этнической окраски и не подразумевает национальной принадлежности. Русские – это те, кто говорят, и главное – думают по-русски.

До сих пор я использовал термин “русские” в кавычках для обозначения русскоговорящих граждан Израиля. А этнические русские, проживающие в России, для нас – русские русские.

Изначально я собирался строгого придерживаться терминологического разделения между: “русскими”, русскими и русскими русскими. Но боюсь, это только усугубит путаницу. Что, в сущности, не обязательно так уж плохо, и, быть может, даже обогатит текст. Практика показывает, что читатели способны усмотреть совершенно непредсказуемый смысл, зачастую противоположный тому, что подразумевал автор.

Один из возможных выводов из этого наблюдения таков: стоит нагородить побольше туманных образов, двусмысленных идей и смутных намеков, хорошенько перемешать, и, если от страницы к странице текст увлекателен, в тепле читательского внимания у каждого в голове испечется свой индивидуальный каравай смыслов.

Правда, путаницы и без того возникнет предостаточно. И нет нужды множить ее терминами, разнящимися исключительно знаками препинания. В дальнейшем все три понятия я стану обозначать одинаково, надеясь, что из контекста будет ясно, о чем речь.

Теперь, когда мы, наконец, разобрались, кто есть русские, можно сделать вот такое признание: я долго жил в уверенности, что русские (и, следовательно, “русские”) – они какие-то особенные. Не такие, как все остальные люди на земле.

Сызмальства все вокруг – общество, культурная среда и русская классика пичкали меня баснями про загадочность русской души, про бескрайнюю степь, про “Поле-е-е, русское поле…” И я охотно верил, так как считал себя их правомерным бенефициаром. И поэтому не помышлял о возможности полноценного общения с представителями иной – якобы не столь пышно развитой и царственно богатой – культуры.

Репатриировавшись, я, как и большинство выходцев из России, привез улиточный домик этого мировоззрения вместе с собой. Поначалу оно даже помогало, служило защитой и убежищем. Сталкиваясь с инакомыслием и чуждым менталитетом, я записывал израильтян в категорию наивных лопухов и усердней укреплял и наращивал свою защитную скорлупу.

В качестве дополнительной меры обороны я вместе со своей скорлупой долгие годы обитал преимущественно внутри русскоязычной среды. Что не так уж меня ограничивало, в особенности после переезда в Хайфу, где расположен Технион, в котором, грубо говоря, треть русских, треть арабов и треть коренных израильтян.

Однако, насмотревшись со стороны на идентичное явление – идею избранности евреев, в которую многие израильтяне верят не менее фанатично, чем русские в избранность русских, – я был вынужден пересмотреть свои культурно-этнические предубеждения.

Настало время признать банальную истину. В первую очередь признаться самому себе. Это случилось не в одночасье, а поэтапно – мелкими шажками. Но на вас, уж простите, это откровение обрушится разом.

Внимание! Дерзкое откровение: русские (в кавычках и без) – такие же, как все остальные. Только чуть более угрюмые и замкнутые.

Вот, высказался. Остается надеяться, что меня не сожгут за это святотатство на Красной площади.

В силу такого прозрения возникла необходимость деконструкции Берлинской стены между русскими и израильтянами, которую я так старательно возводил и в которой неутомимо латал прорехи в течение первых десяти лет жизни в Израиле.

Конечно, стена никогда не была вездесущей и не затрагивала все жизненные аспекты. Я учился в школе, в институте, где-то работал и порой даже участвовал в общественных мероприятиях, но, как и многие репатрианты, придерживался русских компаний и редко предпринимал попытки сближения с “местными”.

К ликвидации Берлинской стены я приступил в свойственной мне манере – порывисто и прямолинейно. Кратчайшим путем и наиболее кардинальной мерой показалось мне срочное обретение сексуального опыта с представительницами разношерстного израильского общества.

Примерно в то же время я осознал, что мои отношения с противоположным полом напоминают заколдованный круг – раз за разом повторяющуюся череду тупиковых ситуаций. Ужаснувшись, я ощутил необходимость найти виновных, которыми, как несложно догадаться, оказались не я и мои паттерны поведения, а женщины. Все русские женщины разом!

Под эту гипотезу я немедленно подвел теоретическую основу. Люди (даже самые рациональные) зачастую формируют собственные взгляды, исходя не из непредвзятых наблюдений, их анализа и последующих логических заключений, а из подсознательных предпочтений. Иными словами, по принципу – нравится / не нравится. Просто так называемые “рациональные люди” ухитряются придумывать убедительные и порой даже логически безупречные аргументы для оправдания своих бзиков. Но в корне это ситуацию не меняет.

То есть чувства приязни и неприязни определяют мировосприятие и поведение. Под них подводится “логическая” мировоззренческая теория. Потом мы незаметно для самих себя меняем местами причины и следствия. И делаем вид, что мы принципиальны и последовательны.

Я поступаю так постоянно. Нахожу самое удобное для себя “разумное” объяснение и возвожу в закон природы. И таким обходным путем поддерживаю иллюзию, что я, во-первых, рассудительный и здравомыслящий человек. А во-вторых и в-третьих, ни в чем не виноват, и опять, как всегда, чертовски прав.

Извольте полюбоваться: теория “женщины – как мороженое” или, точнее, “русские женщины – как мороженое”. (Для полноты клинической картины необходимо читать этот пассаж таким тоном, будто все нижеизложенное является истиной в последней инстанции.) Всегда хорошо опереться на историческую подоплеку или ее кажимость. Я тоже последовал этой традиции. Итак, моя теория не просто взята с потолка, а имеет глубокие и ветвистые корни в русской культуре. Это наблюдение отразилось в народной мудрости в следующей лаконичной форме: “Женщины – как мороженое. Сначала – холодны, потом тают и становятся липкими”.

То есть сначала они надменны и наигранно безразличны, затем стремительно и необратимо тают, и на заключительной стадии становятся зависимыми, назойливыми и капризными.

Тающее мороженое – характерная поведенческая черта женщин, подростковые годы которых пришлись на ранний постсоветский период. Таковое положение

вещей весьма понятно и даже простительно. И является следствием резкого перехода от полупатриархального восприятия женской роли в обществе, семье и романтических отношениях, к скороспелой и сумбурной эмансипации. Результат постоянного столкновения между установкой на самореализацию и архаичной, но увековеченной бессмертной классикой и накрепко засевшей в социальном сознании, директивой занимать позицию “слабой (но гордой) женщины”.

Хоть когда-то – при советском строе – женщина стояла у станка, укладывала рельсы, махала серпом, что-то такое делала с сохой и добывала руду в шахтах наравне с мужчинами, в романтических связях она продолжала позиционировать себя тургеневской барышней.

А сегодня у нее уже нет ни серпа, ни отбойного молотка, соху – и ту отняли, а внятного ориентира, какого рода барышней ей теперь до́лжно быть – не дали. Вот, собственно, и вся эмансипация. Сбрось оковы! И Состоись! Состоись как современная эмансипированная успешная женщина. А что подразумевает это трудно вообразимое понятие, никто не знает. То ли дело у Тургенева – все четко и ясно – садись, читай и действуй по написанному. Но те времена канули в лету, и сегодняшняя установка примерно такова: ты – женщина, свободу тебе дали, вот и вперед – разберись, реши, воплоти и Состоись!

А пока она над всем этим размышляет и не нашла четкого ответа, как и куда грести, мы имеем женщину а-ля мороженое. За ней следует галантно и почти безнадежно ухаживать. Ее взбалмошности, как суррогату свободы, пользоваться которой по назначению она пока не научилась, можно только умиляться. И за нее, само собой, надо по-джентльменски платить при выходе в “свет”.

Завершив эти логические построения, я установил виновных, обосновал собственную правоту и остался чрезвычайно собой доволен. И самое прекрасное – решение обеих стоящих передо мной проблем даже не надо было искать. Оно напрашивалось само собой. Итак, стремление сломать приевшийся паттерн интимных отношений, подкрепленное теорией “русские женщины – как мороженое”, и проект деконструкции Берлинской стены между русскими и коренными израильтянами привели меня на израильский сайт знакомств.

* * *

Поначалу я попадал в курьезные ситуации. Одна деваха с неподражаемой непосредственностью осведомилась, какой у меня длины. Прямо с первых слов в чате. В этой непринужденности было даже некое очарование. Я, стараясь

соответствовать, спросил: “А какой у тебя глубины?” Она дьявольски оскорбилась. Не вполне понятно почему.

Потом три девицы подряд поинтересовались обрезан ли я. С первой я растерялся. Может, о глубинах размышлял. Не помню. Ничего с ходу не придумав, честно отрапортовал о положении вещей. Не скажу, чтобы мне понравилось отчитываться подобным образом. Второй любопытствующей я уже ответил, что ей придется выяснять этот вопрос собственноручно.

Постепенно научившись разбираться в типажах, я стал реже влипать в истории. Но прежде чем перейти к дальнейшему повествованию, не могу не упомянуть уникальный экземпляр спонтанности и раскрепощенности.

Представьте сайт знакомств, анкету с фотографиями двадцативосьмилетней довольно привлекательной особы и следующий текст:

Я Ноа.
Я пью кукурузный сок. Просто балдею. Прям так – из банки. Еще обожаю сердцевины пальмы.
Тащусь от семечек. Могу сгрызть целый пакет. У меня даже есть собственная система их грызть.

Если у кого-то закралось подозрение, что это ирония, поверьте, вы ошибаетесь. Так, в ее понимании, выглядит открытость и естественность.

Я сплю с ночником и никогда не встаю в туалет посреди ночи.
Я способна вместить все. Справиться с чем угодно. Трудности меня не пугают.
Не выношу, когда жуют над ухом или пьют прихлюпывая, или маячат за спиной, когда я работаю.

В графе “Кого я хочу найти” значится:

Мужчину, в душе которого журчит музыка, а пища доставляет наслаждение его внутренним органам.

Думаю, вполне достаточно. Позаимствовать весь шедевр целиком совесть не позволяет, а пародировать не берусь. Вряд ли в моих силах сымитировать столь самобытный стиль.

В целом общение на израильских сайтах мне нравилось. И не только из-за неподражаемых автобиографических жемчужин с сочными кукурузными откровениями. Израильтянки в большинстве держались просто и раскованно. Без излишней наигранности и без непременного ожидания, что инициативе надлежит исходить исключительно от мужчины. Напротив, она нередко исходила от них самих, что, признаюсь, довольно приятно и радует свежестью впечатлений.

Отдав дань адекватности израильских женщин, вернемся к курьезам и начнем с Ханукальной Поэтессы. Пообщались в чате, поговорили по телефону, условились встретиться в пабе. Звонит она, как только стемнело – часа за два до свидания – и говорит, мол, на улице так холодно… “Так холодно” – это плюс восемь. И косой осенний дождь. Рваный. Льет, льет, потом ненадолго утихнет. Зато ветер не унимается. Колючий. Резкий. Буря – это у нас называется.

В Израиле меньше двадцати градусов – это уже холодно. А если, чего доброго, раз в пять лет выпадет снег – и вовсе стихийное бедствие. Страна замирает. Автобусы не ходят. Дети в школу ни ногой. А взрослые высыпают из прожженных кондиционерами офисов и, как маленькие, играют в снежки.

– Уй, на улице так холодно, – говорит она. – Давай… мм… только не пойми меня неправильно, – короткая заминка для сохранения видимости приличия, – давай-ка встретимся у меня. Ты не против?

Я, понятное дело, не против.

Приезжаю, звоню, она дистанционно открывает ворота во дворик и спускается ко мне. Я не сразу понимаю зачем. Спускаться кажется несколько лишним, разве что она собиралась внести меня в дом на руках.

Поднимаясь по лестнице, она вертит передо мной попкой в облегающих кожаных штанах, предоставляя возможность оценить аппетитность ее форм и тонкость тактического хода. Задница у нее действительно что надо – особенно в таком ракурсе и обтянутая тугой черной кожей.

– Как хорошо, что ты приехал! – объявляет она с порога. – Сегодня пятый день Хануки[13]. Мы должны зажечь свечи.

---

[13] Ханука – восьмидневный праздник в память об освобождении и очищении Храма.

Мы, а точнее – я, под ее руководством, по всем правилам Галахи[14] – как мужчина, зажигаю ханукальные свечи. Потом она, с той же церемонностью и серьезностью, с которой зажигались свечи, достает и вручает мне косяк. Я раскуриваю, отдаю обратно.

Она затягивается и начинает обходить стойку, на которой между нами горит ханукия[15]. Движется медленно, но неотвратимо, словно по тонкому льду, где нельзя останавливаться. На лице ее отсветы свечей, а на губах лукавая улыбка.

Когда она оказывается напротив меня, тень от распущенных волос скрывает ее черты. В зубах подрагивает огонек косяка, и в глазах пляшут его блики. Я откидываюсь на стойку и медленно провожу ладонями по холодной мраморной поверхности, выпрямляя руки и вбирая взглядом эти сумасшедшие искры. Она невыносимо плавно приближается вплотную. Я лишь крепче стискиваю пальцы. Ее бедра касаются моих. Я вдыхаю ее запах. Она вынимает изо рта косяк, наклоняется и, щекоча мою шею кончиками волос, шепчет на ухо охрипшим голосом:

– А если мы… сейчас немного пошалим… – я чувствую горячее прерывистое дыхание, – у нас еще будут долгие разговоры в ночь… – ее ногти царапают кожу, – о музыке, о лирике, о литературе… Ты ведь любишь… – ногти жадно впиваются в мой загривок, – ты ведь любишь литературу?

Она увлекает меня в спальню. Сбрасывает на пол пуховое одеяло, и сразу становится жарко и как-то… тесно. И косой дождь все лупит и лупит по запотевшим окнам.

Потом мы курим, стоя босиком на ледяном полу, она прижимается ко мне и глядит на бегущие по стеклу капли, а рядом на полке, где не осталось живого места от потрепанных книг, обнаруживается Венечка Ерофеев. “Москва – Петушки” в переводе на иврит кажется мне чем-то невообразимым. Я смеюсь, и она смеется вместе со мной, мы смеемся и не можем остановиться.

Я нахожу книжку ее стихов, перелистываю, вчитываюсь, и вдруг она принимается взахлеб рассказывать, как бывший трахал ее в жопу. Смачно, в анатомических подробностях и в донельзя откровенных выражениях. Трахал, трахал и дотрахал до столь нетривиальной кондиции, что она уже иначе не может. Не кончает. Но! Когда из-за границы прилетит заказанный в сетевом секс-шопе дорогущий

---

[14] Галаха – совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев.
[15] Ханукия – ханукальный светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника.

вибратор, в ее половой жизни откроются небывалые горизонты. Я буду пялить ее в жопу, как бывший муж, а…

– А во второй дырочке, – облизываясь, поэтично завершает она, – будет усердно трудиться мой новый мультифункциональный вибратор.

Такая перспектива показалась мне не слишком привлекательной. Слушая ректальную сексодраму, я рассеянно листаю ее стихи на высоком иврите, где и без подобного аккомпанемента ничего не разобрать. Затем отыскиваю раскиданную одежду, дожидаюсь, пока она уложит проснувшуюся в соседней комнате дочку, наскоро прощаюсь и ретируюсь, так и не сдержав обещание долгих разговоров в ночь о лирике и литературе.

* * *

Однако не все знакомства были сугубо скоропостижны. Спустя некоторое время я повстречал Орталь. Ор таль – свет росы. Живописно, не правда ли? Но мне нравилось не только имя. Я сразу влюбился в эту взрывную и неугомонную бестию, будто мне восемнадцать.

Орталь была женщиной любви. Или даже Любви. Все у нее было про любовь и о любви. Она читала курс “Любовь” в Тель-Авивском университете. Не, скажем, любовь в литературе или в психологии. Нет – просто “Любовь”. Этот курс разработал какой-то русский тип. Приехал, понимаете ли, из России эдакий умник объяснить местным олухам и сухарям про любовь. Или так: за Любовь. Кроме этого, она писала в том же универе диссертацию о роли женской сексуальности в любви и вела семинар для женщин среднего возраста. Тоже, естественно, о любви.

Когда ей было двадцать, она подалась волонтером в лагерь для африканских беженцев. Когда исполнилось двадцать три, Орталь заинтересовалась религией и стала посещать вечерние занятия Талмуда, а после – срывалась на дискотеку и скакала там до утра. “Ах, какие у меня были гетры”, – смеется она, обнажая аккуратные крепкие зубы. У нее смуглая кожа и глубокие карие глаза, на дне которых бесятся целые выводки чертей.

Как было в нее не влюбиться? И я влюбился. По уши. И все шло чудесно. Уже месяца два мы проводили вместе все свободное время. И вот она приезжает ко мне на выходные, мы выбираемся из постели только под вечер, она привезла что-то вкусненькое и смотрит на меня умиленно – так смотрят женщины на своих

возлюбленных, поглощающих приготовленную ими пищу. Имеется в виду – поначалу, когда они еще не ворчат себе под нос: “У-у… прожорливая скотина”.

Словом, дождавшись, пока я доем и погружусь в умиротворенно-расслабленное состояние, она проворковала:

– Знаешь, я давно хотела с тобой поделиться…

Я что-то промычал, расплываясь в осоловелой улыбке.

– Уже три года у меня есть Мастер. Мы встречаемся раз в месяц. Понимаешь, солнце, я давно увлекаюсь БДСМ-практиками… – мой раскисший в сытой неге мозг конвульсивно дернулся, давясь этой тирадой. – Это, разумеется, никак не касается наших с тобой отношений, – она очаровательно улыбнулась. – Просто я чувствую некий… дискомфорт. Я ведь стараюсь быть предельно искренней, но… все не находила удобного случая для разговора.

Мозговая судорога не отпускала.

– Мой Мастер снимает для нас отдельную квартиру. Как правило, он назначает встречи заранее, а в остальное время мы не общаемся. Он лишь иногда звонит на следующий день – узнать, как я себя чувствую. Но недавно… – она скромно потупилась. – Недавно он доверил мне подыскивать для него новых рабынь.

Мне показалось, что Орталь даже слегка зарделась от целомудренно скрываемой гордости.

– Я провожу предварительные собеседования, делаю кастинг и присутствую на инициации. Бывает, они звонят мне – ищут совет и поддержку. Особенно после первых сеансов. Тут крайне важна чуткость. Есть множество аспектов…

Все это рассказывалось таким тоном, будто речь идет о самом невинном хобби – чем-то вроде вязания или вышивания крестиком в пансионе благородных девиц.

– Мы придерживаемся четких границ. Так, чтобы это не мешало личной жизни, – продолжала Орталь, слегка досадуя на необходимость втолковывать мне, профану, тривиальные истины. – Я долго над собой работала, и теперь для меня это два совершенно отдельных мира. Никак друг с другом не пересекающиеся. Тут тоже немалая заслуга моего Мастера. У него дом, жена, трое славных ребятишек –

большая счастливая семья, и при этом полная свобода развиваться и самореализовываться. Разве это не прекрасно?!

Я медленно выдохнул, пытаясь представить себя в этом треугольнике. И тут же вспомнил про ее подопечных рабынь… Получился какой-то неумещаемый в сознании многогранник. Почему-то особенно коробила та гордость, с которой она хвасталась возвышением в их иерархии.

Уловив мое раздражение, она терпеливо попыталась разъяснить все сначала. Выходило, что тот факт, что ежемесячно ее будет драть какой-то хмырь, никак не касается ни меня лично, ни наших с ней отношений. Ни-как! Это совершенно отдельная от всей остальной жизни тема, никоим образом не противоречащая стремлению к полноценным и гармоничным отношениям. И опять же, она долго над собой работала, и теперь способна абсолютно изолировать эти два аспекта своего бытия.

– С душевной и телесной близостью это вовсе не связано! – безнадежно выкрикнула она, исчерпав последние аргументы. – Господи, да как же ты не понимаешь?!
– Знаешь, Орталь, – поразительно спокойно произнес я, хотя внутри клокотало и лопалось, – ты мне очень… очень нравишься, но я не готов ни с кем тебя делить.
– Твой эгоизм губит нашу любовь, – обреченно проронила она. – Неужто твое ненасытное эго тебе важнее меня?! Моего роста и развития как личности?!

Она так и ушла. Опустошенная, разочарованная и непонятая. Но гордая и желанная.

Я долго не мог ее забыть. Даже не знаю, что терзало меня больше: тоска потери или то, что мне и моим чувствам предпочли какого-то “Мастера”. Когда я вывалил все моему психоаналитику Рут, она совершенно не разделила моих переживаний. Смотрела на меня косо, будто я угнетаю и ущемляю… Я списал это на треклятую женскую солидарность, разозлился и чуть не поссорился заодно и с ней.

* * *

Справедливости ради повторюсь – этими историями я отнюдь не пытаюсь создать впечатление, что израильтянки все поголовно чокнутые. Напротив – нормальные эмансипированные женщины. Просто, во-первых, у меня талант вляпываться во

всякие приключения, а во-вторых, о том, как все началось хорошо и кончилось хорошо, не интересно ни писать, ни читать.[16]

В итоге всех перипетий я счел заключительный этап абсорбции в израильском обществе успешно завершенным. Кроме того, в моей жизни появился близкий друг Дорон – израильтянин до мозга костей, о котором я уже упомянул, и с которым вы еще не раз встретитесь.

Берлинская стена рухнула, и на ее развалинах зацвели первые ростки кактусов Сабрес[17] – с жесткими колючками снаружи и сладкой мякотью внутри.

---

[16] Господин Редактор интересуется, зачем написано это предложение. Какова его смысловая нагрузка?

[17] Сабрес – опунция. Это растение является одним из неофициальных символов Израиля и израильтян.

Нас нет

> …Но тут на Максима напала муха, и ему пришлось вступить с ней в борьбу. Муха была мощная, синяя, наглая, она наскакивала, казалось, со всех сторон сразу, она гудела и завывала, словно объясняясь Максиму в любви, она не хотела улетать, она хотела быть здесь, с ним и с его тарелкой, ходить по ним, облизывать их, она была упорна и многословна. Кончилось все тем, что Максим сделал неверное движение, и она обрушилась в пиво.
>
> Аркадий и Борис Стругацкие

По разным соображениям, которые прояснятся позже, я пытался избежать описания главного персонажа этого фрагмента. Тактично обойти его стороной. Я сомневался, тянул, откладывал… Но повествование, как и природа, не терпит пустот. Пузырь ширился, набухал, нарушая структуру и целостность, и стало ясно, что необходимо принять неизбежное.

Персонажа зовут – Ма́ксим, с ударением на первый слог. Я долго не понимал, почему израильтянам кажется, что ударения в русских именах непременно ставятся на первый слог. Они произносят: Ро́ман, а не Рома́н, Бо́рис, а не Бори́с, и Вла́димир, а не так, как надо. Хотя, к примеру, в еврейском имени Дорон – ударение на втором слоге, да и Моисей ударением на первый слог не грешил. Мне в этом смысле повезло, над моим именем не поиздеваешься. Хотя Шмуэлю иногда удается его коверкать. Недюжинные способности – профессор как-никак.

Решив разобраться с ударениями, сделал несколько поисковых запросов и выяснил, что в английских именах, как и в исконно английских словах, ударение почти всегда на первом слоге. Та же участь постигает и иностранные имена. Ветхозаветный Дави́д становится Де́йвидом, Рахи́ль превращается в Ре́йчел, а Моисе́й – в Мо́узеса. Подобное происходит с французскими именами, с русскими и с большинством других чужеродных слов и имен. А в Израиле просто переняли эту манеру.

Итак, Ма́ксим – диковинное для здешних широт явление. Обитает он во вражеской подсобке при лаборатории. Подсобки у нас две – своя и вражеская. Там – во вражеской – окопался доктор каких-то наук, называющий себя колхозником. “Ян, пойми, я – колхозник!” – многозначительно втолковывает мне Ма́ксим, когда между

нами возникают разногласия. Почему это должно служить весомым аргументом в пользу его точки зрения – неясно. Всякий раз как он выдает свое “я колхозник”, мне слышится “я придурок”.

Колхозник кряжист и квадратен лицом. Покатые плечи и бобрик – словно раз-другой топором тяпнули, и ладно. Он и вправду любит разыгрывать из себя сельского дурачка, не в том смысле, как я юморил о здешних кибуцах, а эдакого кондового совкового колхозника. То ли кондовых колхозников в кибуцы не берут, то ли кибуцы оказались недостаточно совковыми для Ма́ксима, и неведомые силы занесли его в Нетивот.

Нетивот – это населенный пункт на границе с сектором Газа, выросший на месте лагеря для африканских репатриантов. В девяностые популяция удвоилось за счет волны обширной эмиграции из бывших советских республик, и Нетивот получил статус города. А потом его подмял под себя раввин по прозвищу “Рентген”, якобы обладающий даром диагностировать заболевания невооруженным глазом.

Первым делом раввин Рентген отгрохал пирамидальную гробницу своего отца, посмертно возведя его в целители и чудотворцы, и этаким нехитрым образом осенил сам себя индуцированной святостью преемника династии праведников-врачевателей. Позже этот прохиндей приплел уж совсем неправдоподобную, зато никак не поддающуюся проверке, байку о деде и прадеде, известных еще в Марокко богоданным знахарским даром, и занялся шарлатанством на полную катушку. Слизал рабочие схемы с чего можно и с чего нельзя, не гнушаясь ни язычеством, ни идолопоклонством, возбраняемыми иудаизмом. Вовсю использовал амулеты, огненные обряды с экстатическими шаманскими плясками, паломничество к той самой отцовской гробнице и тому подобное.

В итоге этих попрыгушек образовалась секта, и раввин Рентген поставил дело на широкую коммерческую ногу. В продажу поступили индульгенции и заказные благословения. Оплата принималась в двух формах: одноразовая – наличкой – и в виде абонементов с подпиской на ежемесячные взносы. Купилась на это, как водится, беднота, наивно спешащая отдать последние гроши за призрак надежды.

Словом, католическая церковь средневековья отдыхает. Общедоступной банковской инфраструктуры тогда не существовало, и сложно было обувать простаков с таким изяществом и блеском. Подсадить неофитов на пожизненные взносы в отсутствие банковского постоянного платежного поручения уж никак бы не удалось.

Однако я снова отвлекся – типаж больно увлекательный. Но Ма́ксима не тревожат ни этот местечковый оракул, ни его манера спекулировать на людском горе и отчаянии. В Нетивоте нашему селянину удалось воссоздать вокруг себя атмосферу застойной совдепии, и он укутался в нее, как в обтерханный, но привычный и родной ватник. Тепло, хорошо, и мухи не кусают. Он и сам – словно муха, попавшая между оконными створками. Муха, которая не понимает, что влипла. Пожужжит, пожужжит и шмяк греться на солнышке. И все прекрасно. Муха довольна, Ма́ксим – тоже. Он иммигрировал на Святую Землю и обрел свой обетованный колхоз.

В общем, какими бы ветрами Ма́ксима ни занесло в Нетивот – почему он там прижился, примерно ясно. Также ясно, что он этим фактом гордится. И гордится до такой степени, что над его рабочим столом красуется латунная табличка с выгравированной надписью “NASA[18] Netivot”. Но зачем, будучи доктором наук, он мотается в Хайфу (через всю страну!) ради плохонькой должности инженера лаборатории? Непонятно. И уж совсем непонятно, отчего любой разговор никак не может обойтись без упоминания этого местечка. Ма́ксим приплетает Нетивот ко всему, чему ни попадя, а в спорах пользуется им, как последним аргументом. Хотя и начинать он норовит именно со своего ненаглядного Нетивота.

Это было бы забавно, если бы колхозника постоянно не обуревали грандиозные идеи в духе полетов на Альфа Центавра. Безнадежно утопические даже на фоне присущего научной среде прожектерства. Его идеи примечательны тем, что они не только никому не нужны, но и практически невыполнимы. Кроме того, Ма́ксим не умеет думать внутри своей головы. Единственный модус его мышления – выплескивать неоформленные фантазии и затевать по их поводу нескончаемые споры, в которых будто бы должна рождаться истина. Однако Ма́ксиму все никак не удается разродиться. Зато схватки шумны и болезненны не только для него самого, но и для окружающих.

Шмуэль, не первый год знакомый с этим явлением, прозванным “НАСА Нетивот”, выслушивать колхозника напрямую не готов. И мы – аспиранты – служим мембраной между профессором и полоумным Ма́ксимом. Только когда Ма́ксиму удается пробиться через нас, его идеи достигают Шмуэля. Поэтому колхозник ежедневно и неустанно штурмует нашу комнату. Малейшая брешь в обороне – и пиши пропало. Начинается НАСА Нетивот.

В этом смысле я попал больше остальных. Не подозревая, во что ввязываюсь, я поначалу приветствовал его обращения за мелкими техническими советами. От

[18] NASA – НАСА – Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

меня не убудет, всегда рад. Но вскоре эти просьбы переросли в назойливые домогательства. Их учащающаяся периодичность, помноженная на свойственную Ма́ксиму многословность – шутки-прибаутки вперемешку с рецептами напитков из чайных грибов, каш из топоров и, естественно, непременных саг про Нетивот – вскоре приобрели устрашающие масштабы.

Сегодня Ма́ксим подстерегает меня на каждом шагу. Стоит встать со стула или лишь оторваться от экрана, и он тут как тут:

– Минуточку-минуточку, только глянь.
– Ма́ксим, я работаю, – вздыхаю я.
– Ну, пожалуйста. Ну, на секундочку, – канючить он способен часами и без тени смущения. – Тебе что, жалко?

Мне-то не жалко… Тем более, на этот раз часть его планов на удивление выполнима. Надо только сменить подход, о чем я и втолковываю колхознику не первую неделю. Втолковывать-то втолковываю, но не могу же я между делом на коленке навалять его проект. Могу только подсказать. Но нет. Ма́ксим новшеств не приемлет и заявляет, что докажет мою неправоту и сделает по-своему.

Казалось бы, на этом он должен был от меня отстать и, уединившись, “бороться и искать, найти и не сдаваться…” и все вот это. Но снова – нет. Теперь Ма́ксим дергает меня еще чаще. Он непрерывно отирается у порога нашей подсобки; стоит на мгновение отвлечься, Ма́ксим выскакивает из засады и набрасывается с вопросами, добиваясь, чтобы я опроверг сам себя, и все-таки нашел решение именно его способом.

Вчерашним вечером я решил предпринять очередную попытку найти с ним общий язык. Несмотря на разгар осени, утро выдалось знойное и солнечное, мы устроились на скамейке в тени, и я еще раз объяснил свою позицию. Мол, либо давай по-моему, и я подскажу и помогу, либо делай как знаешь, но тогда не спрашивай: “Каким образом?” Я считаю, что никаким. Я считаю, что так ничего не выйдет.

– Ой, да что ты, дядька! – он, хитрец, никогда не перечит. Всегда соглашается, а потом делает по-своему. – Я ж своим убогим умишком так понял… Знаешь, как у нас говорят… – “у нас” – это, должно быть, у Ма́ксима в колхозе. Излагать по существу – не дурачась и не паясничая, он генетически неспособен.

И пошло-поехало…

Я стоически вытерпел с полчаса деревенского фольклора, и мы, кажется, договорились. Я даже немного гордился своевременным решением и собственной выдержкой во время этой беседы. Еще мне вспомнилось, что, прочитав мой первый роман, Ма́ксим всячески его расхваливал, но признался, что очень бы не хотел стать героем следующей книги. Я заверил его, что опасаться нечего, поскольку я коллекционирую особо колоритных персонажей, а он выглядит вполне адекватным и вменяемым. И вроде же это было не так давно, однако с тех пор он только и делает, что напрашивается. Хоть сейчас садись и пиши. И название готово. Можно прям так и озаглавить – “НАСА Нетивот”.

Во второй половине дня я направляюсь готовить кофе. У двери караулит Ма́ксим:

– Ян, глянь, у меня тут эдакая штукенция…
– Ма́ксим, мы же договорились.
– Да-да. Нее, конечно-конечно, это совсем, ну совсем другое, – бормочет Ма́ксим и бочком-бочком тащит меня в свою комнату.

Тыча в монитор, он что-то втолковывает, поминутно съезжая на треп о том о сем и, естественно, о Нетивоте. Все извилины в голове колхозника пролегают через этот сакральный пункт, но спустя минут двадцать до меня доходит, что мы уже снова на полпути на ту же Альфа Центавра.

– Бля, Макс, – простонал я, – сколько можно…
– Ян! – колхозник вскакивает, даже как-то преображаясь.
– Ма́ксим, мы же дого…
– Как ты смеешь! Здесь Дамы!!!
– Дамы? Какие Дамы? Мы же утром договорились, что ты больше не…
– Дамы! – Ма́ксим указывает в коридор на студентку – ту самую, которую мне сватал Тревожный Магистрант. Точнее, требовал “выебать”. – Дамы! Понимаешь? Дамы! А ты материшься!
– При чем тут Дамы?

Но праведный гнев неотвратим. “Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов!” Колхозник упивается монументальной речью о предосудительности использования ненормативной лексики при женщинах.

– Понимаешь ли, в современных реалиях, – дав ему спустить пар, осторожно вворачиваю я, – утверждения, что при,.. как ты выражаешься, Дамах что-то там нельзя – это гендерный шовинизм.

Но куда там, настольная книга этого пятидесятилетнего валенка – Хроники Амбера[19]. А в Амбере, как и в его колхозе, об эмансипации и слыхом не слыхивали. Тем более, он уже оседлал любимого конька и, сидючи на нем, становится напрочь невменяем.

– Ма́ксим, она же израильтянка! – я хватаюсь за голову. – Она не понимает по-русски…
– Это не имеет решительно никакого значения! Русский мат в XXI веке знают все!

Обезоружив меня этой сентенцией, Ма́ксим пришпоривает белого скакуна борьбы за женскую непорочность и разражается новой обличительной тирадой. Он стоит в дверях, загораживая выход и прикрывая своей грудью честь амберовских Дам от моих грязных посягательств.

– Что это?! – внезапно взвывает Ма́ксим, тыча пальцем в меня.

Уже не зная, за что хвататься, я раскачиваюсь в такт его причитаниям, обняв себя за плечи.

– У тебя живот видно!!!

Смотрю – действительно, футболка задралась, обнажив полоску живота.

– Ма́ксим, ты чего?
– Чего?! – взрывается Ма́ксим. – Здесь Дамы! Понимаешь?! Дамы!!! Посмотри на себя, как ты стоишь! Как выражаешься!

На это аргументов у меня уже не находится. С высот, собственно, чего именно он меня воспитывает? С высот величия заслуженного рыцаря Амбера? Или ударника сельскохозяйственного труда?

Тем временем Ма́ксим продолжал истошно вскрикивать, все больше заводясь и багровея от благородного негодования.

– Ох, как ты достал… – наконец, не выдержал я. – Тебе не стыдно постоянно клянчить? Постоянно выцыганивать подсказки?

От резкой смены тона лицо колхозника расплылось в придурковатой улыбке.

---

[19] Роджер Желязны, “Хроники Амбера” – фэнтезийная серия из десяти романов.

– Мало того, что я делаю за тебя твою работу, ты еще мне морали читаешь?! – лишь сорвавшись на крик, я осознал, насколько он доконал меня за последние недели. – Хватит меня лечить! Тебе что-то нужно – валяй к Шмуэлю. И когда он выделит мне время, я готов хоть с ложечки тебя кормить. И вообще, реши, наконец: либо ты рыцарь Ланселот, либо – колхозник, а то я уже не понимаю, как с тобой разговаривать!

Тут мне стало совсем противно. Я остановился. Хотел было еще пройтись на тему совковых моральных ценностей, в которых он себя законсервировал, но, кажется, было уже достаточно. Я плечом оттеснил Ма́ксима и вышел.

Не знаю, что именно из сказанного пробилось сквозь каменистую почву его сознания, но на следующий день Ма́ксим объявил мне бойкот и стал готовиться к масштабным военным действиям. Фортификационные работы начались с раннего утра. Ма́ксим произвел рекогносцировку местности, безошибочно определил наиболее уязвимый сектор обороны и перегородил вход в свою подсобку большим столом. И впрямь, не стану же я ломиться туда сквозь стены. Обезопасившись от лобового штурма, он усилил тумбой первую линию укреплений и передислоцировал офисный стул, так, чтобы с него лучше просматривался коридор. Затем развернул массивный шкаф и прибил подальше от чужих глаз доску для заметок.

Забаррикадировавшись, Ма́ксим стал любовно перевешивать табличку с гравировкой NASA Netivot. К моему приходу колхозник сидел на корточках, спрятавшись за своим столом. Так, судя по фильмам, можно сидеть на зоне, можно – в окопе, или в лесу у костра с видавшей виды эмалированной кружкой… ну, или, что само собой напрашивалось, в кустах по нужде. И уж никак не на факультете с чашкой, на которой красуется эмблема Техниона. Тем более, что могут подумать Дамы?!

– Ма́ксим, че ты тут раскорячился? – заржал я. – Как же Дамы?

Колхозник состроил геморроидальную гримасу и пробубнил нечто неразборчивое. Одернув себя (и так вчера наговорил лишнего), я поспешил в свою комнату и взялся за этот фрагмент. Сколько можно держать на пороге персонажа, который так и бьется головой в двери? Правда, с названием надо что-то делать. “НАСА Нетивот” – вполне подходит, но к чему подливать масло в огонь? Воинственно настроенный колхозник может догадаться, заметив на экране родное словосочетание.

Повертев в уме варианты, попробовал обрезать каждое из слов. Глянул, несколько раз перечитал. НАС Нет. Нас нет.

Обрезание

Как ни крути, обойти вопрос обрезания в истории о жизни в Израиле довольно сложно.

Обрезание в иудаизме называется “брит мила” и символизирует союз человека с Богом. Правда, я так и не понял, что именно является залогом союза – сама крайняя плоть или ее усекновение. “Что их Бог намерен делать с этим кусочком меня?” – вероятно, думал я, когда близился мой черед вступать в этот чудный и чудной союз. “Ишь на что позарился, зачем он ему?”

Как не странно,.. (или, наоборот, странно – затрудняюсь определиться) …в поисках ответа на подобные вопросы написаны тонны макулатуры. К примеру, я только что вычитал: дескать, Творец хотел, чтобы этот “последний штрих” – доведение тела до совершенства – осуществлялся самим человеком. И это, братья по несчастью, учит нас тому, что духовное развитие может и должно достигаться только личным усилием.

С “последним штрихом” было решено не затягивать. Вскоре после репатриации родители туманно объяснили, что, когда меня призовут в израильскую армию, “штрих” может оказаться чрезвычайно критичным. “Ну, и израильские женщины…” – еще более смутно намекали они. Связи с женщинами вообще, а тем паче – с израильскими, я тогда воображал довольно абстрактно. А представить, что же такое собирается делать со мной израильская армия, и вовсе не мог. Неужто заставят письками меряться? Но перечить такой коалиции, как родители, армия, плюс все израильские женщины, в двенадцать лет было сложно.

Придание моему телу окончательного совершенства состоялось не в больнице, а в каком-то подозрительном религиозном заведении. Совершал это священнодейство не хирург, а моэль. Так называется человек, уполномоченный Раввинатом[20] и, предположительно, имеющий специальную медицинскую подготовку. Замечательная, должно быть, профессия – ежедневно с Божьей помощью оттяпывать у десятка-другого еврейских мальчиков.

Совершенствоваться нас потащили втроем – меня, моего брата и нашего двоюродного брата. Их семья приехала вместе с нами, и жили мы пока в одной

---

[20] Раввинат – высший орган, ответственный за назначение раввинов. Сосредоточивает все функции, связанные с духовной жизнью общины.

тесной квартире. Не помню, кто шел первым, но мне выпало быть последним в очереди на экзекуцию. К ее началу я уже успел насмотреться на них обоих и наслушаться сперва впечатлений, а потом и стонов, когда стал отходить местный наркоз.

Помимо моэля, в комнате обнаружились еще два каких-то хмыря. Это показалось мне перебором. И без того страшно, а тут еще три дядьки на одного… или как бы это… на один мой и так съежившийся от ужаса интимный орган.

Положили на кушетку, вкололи обезболивающее и предупредительно отгородили верхнюю часть меня (с глазами и ушами) от предстоящего кошмара декоративной занавеской. Крайне гуманно и деликатно, вот только левая стена почему-то была полностью зеркальной. В зеркале я, конечно, не видел самого органа и что они там с ним вытворяют, зато кровь, которой эта троица измазалась почти по локти, разглядел сразу и крайне отчетливо.

В глазах плывет. Крови неправдоподобно много. Оторваться от зеркала никак невозможно. И вдруг звонит телефон. Моэль сдирает одну перчатку, хватает трубку и принимается метаться туда-сюда, поминутно взмахивая окровавленной рукой и гортанно каркая на непонятном мне иврите. Двое помощников мгновенно теряют ко мне интерес, ретируются к окну и начинают о чем-то спорить, выразительно жестикулируя.

Анестезия понемногу отходит, зеркало тоже тут как тут – никуда не делось. А жизнь идет своим чередом. Моэль энергично втирает что-то телефонной трубке, те двое точат лясы у окна, и в отражении по белым простыням расплываются багровые пятна. Проснувшаяся боль нарастает и становится все острее.

Спустя мучительно долгий промежуток времени, телефонные терки были целиком и полностью перетерты, лясы всесторонне отточены, и только тогда меня наконец-таки дорезали. И началась самая восхитительная часть кордебалета. Как нас в таком состоянии доставили домой, уже не помню. Зато ясно вижу, как мы все трое дней десять шатались по квартире в юбках.

Ни трусы, ни штаны мы надеть не могли. Выйти куда-либо – и подавно, тем более в юбках. Ковыляли как пингвины, переваливаясь на широко расставленных ногах. Было довольно больно, но дико смешно. А смеяться, оказалось, гораздо больнее, чем ходить. И, если ходить можно было по минимуму, то не смеяться не удавалось никак. Словом, насыщенное времяпрепровождение.

Две недели спустя я смог кое-как напялить брюки и вернулся в школу изучения иврита. Прихрамывая, плетусь по коридору, тихо постанываю, а пацаны в смежном переходе гоняют в футбол. Заглядываться на них мне недосуг, каждый шаг – пируэт эквилибристики – требует осторожности и концентрации. И тут кто-то особо талантливый и меткий со всей дури засандаливает мне мячом между ног.

Мда… Здесь как бы описывать нечего. Часа полтора я, скорчившись, валялся на полу и вряд ли когда-либо забуду это переживание.

Так я и вступил в союз с Богом, в которого не верил и не верю. Зато мое тело обрело окончательное совершенство, в чем, как и предрекали мои прозорливые родители, имели удовольствие убедиться и израильская армия, и немало прекрасных женщин.

Финкельштойценберг

Раз уж мы затронули увлекательную тему гениталий, о которых не принято говорить в открытую, но которые так или иначе подразумеваются под изрядной долей человеческих интеракций, расскажу еще одну историю.

Мой прежний научный руководитель – в магистратуре, как и профессор Басад, гонял подопечных и в хвост и в гриву и тоже был горазд на придурь. Но в своем особенном роде. Звали его Пинхас Цви Ван Виссер де Финкельштойценберг. Цви и Пинхас – это два имени, а все остальное, видите ли, фамилия.

У еврейских имен, как правило, есть значения. В значение основного имени – Пинхас – мы вникать не станем, а то получится перебор, тем более что никто его так на самом деле не называл. Звали либо официально – профессор Ван Виссер де Финкельштойценберг, или нечто в этом роде – как у кого получалось, либо по-свойски – Пини.

Дословно “пини” переводится как “моя писька”… даже в какой-то уменьшительно-ласкательной форме: моя пиписька. О чем я, собственно, никогда не задумывался, пока мой друг Дорон не выказал недоумение этой наитупейшей форме сокращения имени Пинхас.

Тогда я вспомнил, как мой научный руководитель рассказывал, что в Штатах, где он учился в аспирантуре, его трудное для американского уха имя “Пинхас” постоянно путали с названием собачьей породы “пинчер”. И он решил сократиться до Пини. То есть называться собачонкой за рубежом ему казалось несолидным, а пиписькой на родине – вполне приемлемым.

Эту историю я услышал при еще более забавных обстоятельствах. Пини имел обыкновение в часы досуга вызывать меня к себе в качестве придворного шута. Происходило это так: он звонил после обеда и спрашивал, не занят ли я. Я шел, так сказать, на десерт. В ответ “десерт” мычал нечто маловразумительное о том, что он, конечно, занят кипучей исследовательской деятельностью, но для нашего светила науки время завсегда найдется.

– Прекрасно, – резюмировал Пини, – дуй ко мне в кабинет.

В кабинете, с видом римского патриция, Светило принималось блистать незаурядной эрудицией, затевая пространные рассуждения на совершенно непредсказуемые темы: восточноевропейское кино, русская поэзия XIX века, культурное влияние римской империи на какие-то племена, экспедиция обедневшего идальго и разбойника с большой дороги Кортеса к ацтекам… все не упомнишь. Можно сказать, мой профессор развил во мне талант поддерживать разговоры на любые темы, не важно, знаком ли я с их предметом или нет. Впрочем, собеседник ему не требовался, требовался – благодарный слушатель.

Еще Светило обожало делать телефонные звонки в моем присутствии:

– Говорит профессор Пинхас Ван Виссер де Финкельштойценберг с факультета программной инженерии и компьютерной техники Техниона – технологического института Израиля, – выдавал он какой-нибудь несчастной секретарше, кидая на меня победоносный взгляд. После многозначительной паузы объявлялось, что он к тому же лауреат чего-то такого, что я уже не помню, и почетный член еще чего-то, чего именно – я и тогда не разобрал.

Все телефонные разговоры (так и подмывает добавить: сей августейшей особы) неизменно начинались с оглашения полного титула и перечня регалий, будто одной его чванливой фамилии было мало. Я почтительно склонял голову, не находя слов от восхищения. Хотя, вероятно, следовало восторженно визжать. Нахваставшись регалиями, профессор Ван Виссер де Финкельштойценберг с головокружительной высоты своего превосходства втолковывал и без того запуганной женщине на другом конце провода who is who, and who is not[21].

Так вот, вернемся к обстоятельствам, при которых я узнал, как мой научный руководитель стал пиписькой. Профессор Ван Виссер и так далее сходил на сеанс… (держитесь крепче!) …сеанс гадания по Каббале. Тут я впал в ступор. Сходил, значит, он к гадалке, и та поведала, что его проблемы гнездятся в имени. Потому, мол, что он решил называться не тем именем. Тут, несмотря на ступор, необходимо пояснение о двух именах у ашкеназских евреев: в США, в Канаде, в Австралии и в еще некоторых западных странах при рождении даются два имени – основное, которым, как правило, человек представляется окружающим, и второе, являющееся данью традиции, и которое никто не употребляет.

Оказалось, что мой руководитель при рождении был наречен Цви, то есть горный олень… или козел… не уверен, как точнее перевести. А Пинхас – его второе имя.

[21] “Who is who, and who is not” (англ.) – парафраз на выражение “кто есть кто” – кто есть кто, а кто не (кто).

Однако называться Оленем ему не нравилось, и он еще с детства решил представляться Пинхас.

Не что иное, как отречение от исконного имени, по словам гадалки, и предрешило роковой излом его судьбы. Тектонические плиты его кармы принялись сползать куда-то не туда и все пошло наперекосяк. А потом его еще… сглазили. Я чуть не застонал в голос. Его сглазили, и то ли на него самого, то ли на его имя навели порчу. Происходящее уже выходило за рамки моего понимания. Он так подробно втолковывал мне эту чушь, что я окончательно запутался. Да и перевод – “горный олень”… или “козел” (я так и не определился) – мешал должным образом сосредоточиться и осмыслить его трагедию во всей ее тотальности.

Мой друг Дорон, выслушав красочный пересказ Пининых злоключений, сперва не мог поверить, что профессор ведущего технологического института страны способен поддаваться мистическим суевериям. И забыться до такой степени, чтобы откровенничать с аспирантами о своих антинаучных предрассудках.

Отсмеявшись, Дорон резонно заметил, что вовсе не обязательно ходить к гадалке, чтобы осознать, что именоваться пиписькой – не самая лучшая идея. Ан нет, Пини дожил до пятидесяти с чем-то лет, сделался доктором наук, отвоевал свое место под скупым солнцем институтской экосистемы, но так и не допер, что что-то неладно. И только ворожба вкупе с Каббалой открыли ему глаза. Хотя, казалось бы, довольно лишь толики здравого смысла.

Как бы то ни было, для снятия порчи и исправления кармического перекоса моему научному руководителю было необходимо срочно превратиться из Пини обратно в Цви. И поскорее добиться от окружающих, чтобы его прекратили называть Пиписькой и стали называть Оленем.

Насколько я могу судить, реставрация кармического баланса не увенчалась особым успехом, хотя минуло уже лет десять. Во всяком случае, с тех пор он не стал менее мстителен и злопамятен. Повстречав меня год назад в Технионе, когда я искал научного руководителя для аспирантуры, Пини принялся уламывать вернуться к нему. А узнав, что я выбрал не его, а профессора Басада, накатал длиннющее письмо декану нового факультета. Суть этого эпистолярного опуса сводилась к тому, что я по всем критериям не подхожу на роль аспиранта, и уж тем более – доктора. И даже рассмотрение моей кандидатуры – ужаснейшая ошибка.

Отбросив эмоциональный аспект, налицо внутреннее противоречие. Казалось бы, зачем столь усердно заманивать меня к себе, раз я ни на что не годен? Однако если

допустить, что попытки логически трактовать поступки моего бывшего научного руководителя еще не дискредитированы окончательно, остается единственный возможный вывод: если уж кто-то и был способен сделать из меня доктора, то лишь он один – Светило науки – профессор Ван Виссер де Финкельштойценберг.

Так или иначе, выслушав душещипательные каббалистические откровения и ни разу не заржав и даже не захихикав, я пообещал впредь называть его Цви. Но не смог, как ни старался. За именем всплывала вся предыстория, и становилось слишком смешно. Зато Светило от своего так и не отступилось, и все-таки припрягло оленя к полному имени. Но чтобы на фоне титулов и регалий должным образом прочувствовать эту тонкую разницу, необходимо быть истинным ценителем. Вслушайтесь в чарующую мелодию этих звуков:

– Говорит профессор Цви Пинхас Ван Виссер де Финкельштойценберг с факультета программной инженерии и компьютерной техники Техниона – технологического института Израиля, – отныне триумфально возвещало Светило науки в безропотную телефонную трубку.

И лишь затем – лауреат, почетный член и прочая галиматья.[22]

---

[22] Господин Редактор утверждает, что профессор Басад – он же Шмуэль – сливается с профессором Финкельштойценбергом – он же Пинхас и Пини. И по ходу повествования становится неясно, кто есть кто. По мнению Редактора, это происходит из-за обилия непривычных русскому уху еврейских имен. Но не переименовывать же израильских профессоров в Иванов Сидоровых. Хотя… может стоит эту идею Пини подкинуть, – глядишь, и поможет там, где гадалка подкачала.

Кабаны, тараканы и патриотизм

Район города Хайфа, где я поселился, называется Французский Кармель, хотя живут здесь примерно в равной пропорции русские, арабы и коренные израильтяне. И кабаны. Ну, то есть, как кабаны… это вам не маньчжурский вепрь или уральский секач, размером с небольшой внедорожник. У нас тут и места-то нет для такого роскошества. Мало того, они еще и некошерны. Так что израильский кабан съежился как мог, чтобы глаза не мозолить, а не то бы ему трансфер устроили, депортировали бы наших кабанов, скажем… да хоть в Австралию, пусть там с кенгурами[23] и коалами познакомятся. Вот смеху-то было бы.

Возникала у меня и альтернативная теория, о том, что кабаны соразмерны дубам. По моим представлениям из российского детства, дуб – это нечто здоровенное и высоченное. Из европейских дубов можно производить массивную мебель, а из наших, пожалуй, лучше всего изготавливать зубочистки. Вот и кабаны у нас выдались соответствующих размеров.

Однако шутки шутками, а к обитанию в городе кабанов я все никак не могу привыкнуть. Хорошо хоть они только по ночам выходят на улицы подкормиться. Навострились переворачивать мусорные контейнеры и роются там, растаскивают. Когда это им удается, зрелище довольно дикое – настоящий, что называется, свинюшник. Полагаю, муниципалитет до некоторой степени учел незаурядные способности и сноровку кабаньей братии при выборе конструкций контейнеров, и потому этот номер с переворачиванием проходит у кабанов далеко не всегда. Чаще они просто слоняются по опустевшему городу.

Выходишь ночью на улицу, или наоборот, возвращаешься, припарковался и направляешься к дому, и тут – здравствуйте, пожалуйста, – кабан! Заметил тебя, насторожился и замер, как вкопанный, преграждая дорогу. Стоишь, а напротив кабан, или три, а за ними с пяток кабанят семенят. Это – самое неприятное. При детенышах они более агрессивны и вспыльчивы. Я, естественно, всеми копытами за природу, но, как бы это… дикие животные, пусть даже не особо крупные, будьте любезны, – подальше от меня.

[23] Господин Редактор указывает на то, что слово “кенгуру” – это несклоняемое существительное, но после консультации с защитниками австралийских животных решено было хотя бы в этом романе не лишать кенгурей права на склонения по падежам.

А домой-то пройти все же надо. В обход – полрайона огибать, и никакой гарантии, что они за это время не прибредут туда же. И начинаются территориальные игры. Я пытаюсь обойти или разминуться, предупредительно подавшись в сторону. Я – туда, они – сюда. Почему-то мое “туда” и их “сюда” часто совпадают. Рокировка не складывается. Кабан перетаптывается, принимает боевую стойку. Я, конечно, понимаю, что это больше для виду, и он не станет всерьез ломиться на меня в атаку. В конце концов, даже с точки зрения территориальности, они должны инстинктивно чувствовать, что это наша – людская – территория. Но все равно как-то боязно. Тем более если они с детенышами. Иди знай, чем чревата борьба противоречивых инстинктов.

А кабан – не собака. С собакой, пусть даже и бездомной, я еще примерно представляю, как договориться. А вот как договориться с кабаном, мне – городскому жителю – непонятно.

Кабанов я предпочитаю созерцать из окна своей гостиной на седьмом этаже. Городские огни на гребнях холмов, море до горизонта, а под домом с тяжелым треском проламываются сквозь кустарник кабаны. Целыми шайками, или как это у них называется – табунами? Порой кажется, что они очень близко, и невольно шарахаешься от резкого хруста сучьев. В лощине между отрогов холмов странная акустика, и с противоположного откоса слышно, будто с другого конца комнаты. И вот мои любимые кабаны гуськом трусят через улицу. Заслышав машину, самец нехотя подается в сторону, а когда с детенышами – вообще никак не реагирует, даже если подъехавшее авто начинает сигналить и слепить дальним светом. Стоит и ждет, давая своему выводку перейти. И потом отходит не сразу, держит марку.

Радует лишь одно: еще неизвестно, кто кого больше боится – я их или они меня. Но я все же стараюсь всячески уклониться от встреч лицом к… лицу, если так можно выразиться относительно кабаньего рыла. Обойти и лишний раз не сталкиваться.

Так что, как ни странно, ночные рандеву с кабанами – довольно насущная проблема в моей жизни. И судя по всему, я не один, кого тревожит эта ситуация, так как до недавнего времени хайфский муниципалитет их отстреливал. Вполне гуманно – усыпляющими пулями. Усыпляли и отвозили к северной границе на Голанские высоты с предписанием двигать еще севернее в Сирию и просить там политического убежища. Вот, мол, вам от наших щедрот отборные кабаны, делайте с ними, что душе угодно.

Правда, все это оказывалось не слишком эффективным. То ли кабанов не прельщали сирийские социальные условия, то ли их, как и Штирлица, неудержимо

рвало на родину… Так или иначе, они вечно возвращались в отчие края. Пробирались малыми группами. Крались под покровом ночной мглы. И так мало-помалу возник круговорот кабанов в природе.

Но ничто не вечно: вмешались зеленые, и, не знаю уж из каких именно соображений, добились прекращения этого хоровода. И теперь мы – жители Хайфы – брошены один на один с кабанами. А кабаны размножаются значительно быстрее людей – по четыре-шесть, а то и до двенадцати детенышей в год. Остается надеяться, что гомеостаз нашей экосистемы не нарушится, и всех нас, на радость зеленым, в какой-то момент не выживут из города их распрекрасные кабаны.

Как-то я зациклился на кабанах, хотя они – не самые яркие представители нашей фауны. Даже львы у нас обитали, но потом (по непроверенной информации) некий неосмотрительный лев схарчил какую-то шишку местного значения, и, так как в ту пору ни о каких зеленых тут и слыхом не слыхивали, львов быстренько извели подчистую. Были львы, да все сплыли, сохранился лишь один – на гербе Иерусалима. Впрочем, еще не хватало, чтобы здесь и крупные хищники разгуливали. Со львами я уж точно не хотел бы встречаться на улицах родного города.

Так, давайте оставим в покое львов, пока, из лучших побуждений сделать текст более живописным и насыщенным, я вконец не заврался. А то прям какой-то Армагеддон получается… Кстати, холм Мегиддо, который у нас называют горой, и от имени которого происходит понятие “Армагеддон”[24], тут совсем недалеко, буквально под боком. Но к израильской манере величать холмы горами, рощицы – лесами, а озера – морями мы вскоре вернемся. А сейчас, раз уж я затронул присущую нашей стране миниатюрность кабанов, для баланса еще небольшая история на схожую тему.

Кабаны у нас, что греха таить, малогабаритные – не похвастаешься. Зато тараканы… Тараканы у нас о-го-го! Тут-то мы постарались на славу. Проявили себя, так сказать. Я даже не побоюсь причислить их к наиболее выдающимся достопримечательностям нашей маленькой, но гордой страны.

Тараканы у нас отменные. Мощные, откормленные, но на удивление шустрые. Не насекомые, а какие-то маленькие маневренные машинки – так и шныряют туда-сюда.[25] Когда я жил в студенческой общаге и водил с ними тесное знакомство,

[24] Армагеддон – упоминаемое в Апокалипсисе место последней битвы сил добра с силами зла в конце времен. Этимология: ивр. хар (или ар) Мегиддо – гора Мегиддо.
[25] Здесь, по настоянию Господина Редактора, убрана посредственная шутка.

поневоле приходилось приноравливаться к их повадкам. Не то что в общежитии было так уж грязно, эти тараканы – естественная часть здешней природы, они не питаются исключительно отходами и не являются признаком нечистоплотности.

Кроме всех прочих несомненных достоинств, наши тараканы еще и летают. Ну, конечно, не реют буревестниками, черной молнии подобно, однако достаточно, чтобы вносить существенное неудобство в бытовую борьбу с этими пакостными насекомыми.

Водятся у нас и летучие мыши, и довольно много. Самые обыкновенные, не слишком большие, не слишком маленькие, а вполне соразмерные. Летучие мыши в городе тоже поначалу казались мне несколько неуместными. Потом привык. Красиво даже. Выходишь ночью, а они парят, пикируют меж кронами деревьев, скользя быстрыми тенями и создавая таинственную атмосферу.

Иногда, и тоже в ночное время, можно встретить дикобраза. А по утрам стайками резвятся мелкие зеленые попугаи. И мангусты у нас тоже имеются. В детстве мангусты чудились мне сказочными существами. То ли из-за их загадочного названия, то ли потому, что я читал о маленьком, но отважном мангусте по имени Рики-Тики-Тави в сказке Киплинга… Но вот сбылась мечта идиота: я могу выйти из дома, побродить по моему Французскому Кармелю и, с немалой долей вероятности, отыскать самого что ни на есть взаправдашнего мангуста.

Ладно, у меня, собственно, нет задачи ознакомить вас с полным составом нашего урбанистического зверинца, так что напишу-ка еще про шакалов, и пора менять тему.

Однако прежде необходимо восстановить историческую справедливость. В коллективном сознании сформировался образ шакала, характерными чертами которого являются трусость и подлость. В этом смысле на сегодняшний день есть довольно-таки общемировой консенсус, но это отнюдь не всегда и не везде было так. Например, в древнем Египте шакалу приписывалось право осуществлять моральный суд и иные сакральные функции и свойства.

Спрашивается: как и на каком основании мог сформироваться какой-либо стереотип шакала в России, где до недавних пор шакалов не было и в помине?[26] То же самое с Америкой, в которой тоже не было и по сей день нет никаких шакалов. Исконные территории обитания шакалов – юго-западная часть Азии и Африка. А в

---

[26] В последние годы шакалы постепенно распространяются в северные регионы – в Европу, в Россию и в Белоруссию. Вероятно, в связи с глобальным потеплением.

Америке обитает родственник шакала – койот. Его имидж тоже не самый светлый, койот – он эдакий хитрый негодяй, но ему вполне можно симпатизировать.

Образ койота подобен нашему образу лисы. И в койотах, и в лисах есть нечто располагающее, а шакал со всех сторон плохой, хотя его повадки схожи с повадками койота, и занимают они аналогичную экологическую нишу, только на разных континентах. Тем не менее, в Америке, как и у нас, слово “шакал” обрело однозначно негативный оттенок и является именем нарицательным.

Допустим, до некоторой меры можно понять враждебность азиатских крестьян, у которых проказник-шакал ночами воровал каких-нибудь, скажем, кур. Но ведь тем же самым испокон веков промышляли его ближайшие родственники – лисы и волки, и не только в Азии, а в России, в Европе и в Америке. Кроме того, шакалы – искусные охотники, которые, в отличие от волков, охотятся в одиночку или парами, и не нападают целой стаей. Однако волки нигде не сыскали столь позорной славы, и вот, думается мне, почему: к волку можно относиться отрицательно, но сложно презирать хищника, который способен одолеть тебя один на один. А шакалы маленькие, люди им не по зубам, за что их уважать?

И потом, насколько нам известно, не было никакой всемирной межвидовой ассамблеи, где представители людей и шакалов договорились о том, что людям можно порабощать и эксплуатировать кур – разводить их, убивать и использовать их мясо, яйца и перья, а шакалам в этот гешефт вмешиваться запрещается. Вряд ли бы шакалы на такую сделку согласились, не говоря уж о курах. Так что не вполне ясно, в чем шакал так уж подл, а азиатский крестьянин благороден или хотя бы морально прав.

Словом, мнения о шакалах были разные, но потом уже упомянутый Редьярд Киплинг написал Книгу джунглей – сборник рассказов о Маугли. Там фигурирует довольно мерзкий второстепенный персонаж Табаки, наделенный приписываемыми шакалам качествами – трусостью, подхалимством и подлостью. Табаки – шакал, прихвостень тигра Шерхана – главного злодея и противника Маугли. Едва ли Киплинг намеревался очернить доброе имя шакалов, просто ему удалось написать настолько популярную детскую книгу, что и сам Маугли, и все, что с ним связано, накрепко запечатлелись в наших сердцах.

Это еще что, подобным же манером составители Ветхого Завета (кто бы они ни были) очернили змей, обвинив их не только в дьявольском коварстве, но и свалив на них ответственность за изгнание человека из рая. А в Новом Завете устами Иоанна Богослова змею без всяких обиняков отождествляют с Сатаной. Это,

пожалуй, один из случаев самой грандиозной клеветы за последние несколько тысяч лет.

Примеров создания беспочвенных стереотипов о различных животных полным-полно, но хочется рассказать полузабытую историю медвежонка Тедди. Как случилось, что медведь стал символом чего-то милого, какой-то нежности и даже любви? Почему плюшевый медвежонок – культовая детская игрушка? Отчего во многих соцсетях среди няшного изобилия смайликов самыми популярными обнимашками являются мишки? Хотя никто из имеющих малейшее представление о медведях не пожелал бы испытать объятий этого самого крупного наземного хищника.

Был такой далеко не последний по значимости американский президент Теодор Рузвельт, и решил он как-то раз сходить на медведя. Президенты вообще горазды на всякие чудачества, а другим за ними расхлебывать. Но куда денешься, охота на медведя – опасная штука, и лучше заранее подсуетиться, чем потом извиняться перед согражданами и оправдываться перед мировой общественностью: дескать, упс, нашего президента случайно задрал косолапый. Как-никак такой пикантный инцидент не украсил бы историю Соединенных Штатов. И действительно, приближенные и отдел безопасности не оплошали: распорядились загнать медведя собаками, отмутузить до полусмерти да еще на всякий случай привязать к дереву – ну, чтобы уж совсем наверняка.

Однако Теодор Рузвельт поступил не так, как на его месте поступали власть имущие повсюду и во все времена. Рузвельт не стал стрелять и затем триумфально позировать на фоне добычи, а велел отпустить загнанного зверя. Произошедшее обрело огласку, американцы умилились благородству своего политического лидера и принялись самозабвенно клепать плюшевых медвежат, получивших в честь президента прозвище Тедди. А остальные страны и народы подхватили новую моду, как водится, быстро позабыв, откуда выросли эти бурые уши, и сегодня на полном серьезе считают плюшевого медведя буквально родным.

Я бы даже рискнул предположить, что Чебурашка и Олимпийский Мишка, создатели которых в детстве были в той или иной мере подвержены “тлетворному” влиянию медвежонка Тедди, как бы это так покорректнее выразиться… не вполне чистокровно советские. И это все несмотря на холодную войну… Впрочем, чтобы не задеть чьи-нибудь патриотическо-религиозные чувства, я тактично умолкаю. Но интересно наблюдать, как образы просачиваются и преображаются, не так ли?

К слову, если копнуть, подобные заимствования символик обнаруживаются сплошь и рядом. Хотя бы тот же кактус Сабрес – символ Израиля и израильтян, – который на самом деле родом из Южной Америки, а в наши края завезен всего несколько сотен лет назад. И никакому царю Давиду или царю Соломону эти сабресы даже во сне не снились.

Мда, я только-то и хотел восстановить попранную Киплингом справедливость, и вот что из этого вышло…

Как бы то ни было, мы реабилитировали шакалов (или хотя бы попытались), пора вернуться к повествованию о них самих. Итак, шакалы – с виду ничего особенного. Небольшие – чуть крупнее кошки, невзрачные, осторожные – близко к ним не подойти. Но интересно не это, интересно другое – выходя на охоту, шакал издает громкий вой, высокий скулящий вопль, который тотчас подхватывают его сородичи. Их голоса причудливо переплетаются, образуя волну, заполняющую всю округу.

Шакалий переклич эхом гуляет по городу, струится, плещется морским прибоем. Переливается на разные лады, вспенивается далекими отголосками, в которых слышится плач, лай и стон, и эти звуки сливаются в призывную, загадочную и в то же время грустную песнь. Но эта грусть, пусть даже отчасти надуманная мной, она в чем-то светлая и чистая.

Эта потусторонняя песнь, этот гимн зарождается где-то в Египте, растекается по Синайскому полуострову, прокатывается по нашей стране и дальше на восток в Иорданию и на север в Ливан и в Сирию. Шакалий переклич, вопреки государственным границам, религиозным и национальным розням и войнам, захлестывает весь ближневосточный регион несколько раз после захода солнца – до и после полуночи, и в самые темные предрассветные часы.

* * *

Раз уж я так увлекся средиземноморской фауной, продолжим о флоре, климатических особенностях и других уникальных явлениях нашего маленького ломтика земного рая.

Хотя… в живописании флоры нет динамики. Пальмы, прочие рододендроны и даже заросли юкки, как бы это слово мне ни импонировало, – не бегают, не летают и не поют ночами, так что ничего сюжетного о них не насочиняешь. А отчеты о визуальном облике всяких цветочков и лепесточков стали куда как менее актуальны

с появлением цветной печати, затем – телевидения, и окончательно потеряли смысл с развитием интернета.[27]

Зато никакими клипами и фотографиями не передать атмосферу хамсина – жаркого пустынного ветра, несущего огромные тучи пыли и песка из Сахары. Согласно распространенному поверью, число дней хамсина в году составляет пятьдесят. Отсюда и название этого явления, означающее пятьдесят на арабском языке.

Страну на несколько дней обволакивает горячим непроницаемым облаком. Воздух подменяет пыльная желто-серая взвесь. Ночью ветер стихает, и дымка застывает густым туманом – неподвижным, плотным, почти осязаемым. Очертания расплываются, пятна фонарей мерцают, как елочные игрушки или как замершие всполохи осветительных ракет. Разноцветное зарево клубится над городом, словно сочащимся внутренним светом. Море тонет в ватной пелене. И в глухие предутренние часы одинокий сигнальный огонек маяка у монастыря Кармелитов, возведенного над пещерой пророка Ильи, подмигивает мне с гребня соседнего холма сквозь молочную поволоку.

А неподалеку, безотносительно к ветрам и иным атмосферным явлениям, расположен Бахайский храм, золотой купол которого стал визитной карточкой города. Бахаи считают свою религию последней мировой монотеистической религией, а ее основателя Мирзу Хусейна Али, назвавшегося Бахауллой, – последним в ряду “явлений Бога” после Авраама, Моисея, Будды, Заратустры, Кришны, Иисуса, Мухаммеда и Баба – пророка и создателя Бабизма – тоже чрезвычайно занимательной религии (и нечего хихикать). Хм-м… все же не удержусь от мелкого хулиганства и добавлю, что основной священной книгой в Бабизме является Персидский Байан.

Ладно-ладно, теперь без плоских шуток. Бахаи проповедуют сближение религий, установление всеобщего мира и единство человечества. Вера Бахаи зародилась в середине XIX века в Персии. В городе Шираз тот самый Баб – основатель Бабизма – провозгласил скорое явление Посланника Бога, ожидаемого всеми народами. В знак признательности за столь благую весть набожные и богобоязненные соплеменники его быстренько арестовали и расстреляли.

Бахаулла – один из первых последователей Баба – был взят под стражу, подвергнут пыткам и сослан для острастки в Багдад. Все эти мероприятия не произвели должного педагогического воздействия, и вскоре Бахаулла объявил, что

[27] Господин Редактор: Что хотел сказать автор этим абзацем? Читателям и без того известно, что пальмы не летают.

он и есть тот Божий Посланник, чье пришествие предрекал Баб. В честь этого дела Бахаулла был изгнан из Багдада в Константинополь, оттуда в Адрианополь и, наконец, к нам в Акко.

В ходе увеселительных экскурсий по периферийным осколкам разваливающейся Османской империи Бахаулла составил ряд обращений к правителям того времени, призывая их засвидетельствовать наступление Дня Божьего, примирить расовые и религиозные разногласия, сократить вооружения и принять систему коллективной безопасности, при которой агрессия против одной из стран будет сдерживаться объединенным вмешательством остальных государств.

Духовный центр религии бахаи находится в Хайфе на склоне “горы” Кармель. Там располагаются террасные сады, усыпальница Баба, которую местные жители называют “Бахайским Храмом”, и резиденция Всемирного Дома Справедливости – коллегиального выборного органа, управляющего делами общины. На противоположной оконечности Хайфского залива – в городе Акко и его окрестностях – имеются и другие бахайские святыни, включая самую заветную – мавзолей Бахауллы.

Для справки: город Акко является одним из древнейших городов и существует по меньшей мере уже четыре с половиной тысячи лет. Интересный факт: штурм Акко стал первым стратегическим поражением Наполеона и началом конца его Египетской компании. Отброшенный турками, будущий самопровозглашенный император отступил обратно в Египет, а оттуда, бросив остатки армии, бежал во Францию.

Да что там Наполеон, наш ломтик средиземноморского рая и без того под завязку напичкан всякой всячиной. Куда ни плюнь – святыня, куда не ткни – исторические раскопки. Кто за чем сюда ломился: кто – за Святым Граалем, кто – по следам копыт лошади Пророка[28], кто – посмотреть на тех, кто за копытом и чашей, кто – поплакать у стены разрушенного храма, который, по некоторым источникам, евреи сами первыми и подожгли[29], а потом дико обижались на римлян за такое неслыханное безобразие. А если и не жгли сами, то все равно в какой-то мере причастны к его разрушению. Так как крайне самонадеянно и недальновидно маленькому и разрозненному народцу, постоянно занятому внутренней грызней и

[28] Редактор: Он прилетел. Там, строго говоря, не было следов, ведущих из Мекки в Иерусалим.
Ян: Прилетел? Размахивая копытами?
Редактор: Нет, к Мухаммеду явился ангел Джибриль вместе с таким существом… вроде крылатого кентавра с павлиньим хвостом.
[29] “Иудейская война”, Иосиф Флавий.

междоусобными распрями, восставать против Римской империи в период ее стремительной экспансии.

Еще одна историческая справка: древние иудеи дважды возводили Храм, и он был дважды разрушен. Первый построен царем Соломоном в X веке до н. э., и разрушен Навуходоносором в VI веке до н. э. Большинство жителей Иерусалима были убиты, оставшиеся – взяты в плен и угнаны в рабство в Вавилонию. Спустя 70 лет царь Персии Кир Великий, покорив Вавилон, позволил иудеям вернуться на родину и выделил средства на реконструкцию Иерусалимского храма, который был снова разрушен в 70 году н. э. в ходе штурма Иерусалима римскими войсками.

Падение Иерусалима и сожжение Храма положили начало рассеянию иудейских племен по миру. С тех пор мы больше не предпринимали попыток реконструкции Храма, так как, по еврейской традиции, Третий Храм будет восстановлен лишь во времена грядущего Избавления, которое наступит с приходом Мессии.

* * *

Израильтяне, как, впрочем, и другие народы, склонны гордиться своей страной по поводу и без повода. И вправду, есть чем гордиться, особенно если учесть, насколько молода эта страна и в каких тяжелых климатических и, главное, политических условиях происходило ее становление. Одних войн, не считая вспышек террора, не угасающих порой годами, было более десятка за первые шестьдесят лет с основания государства. А отступать тут некуда – весь Израиль в поперечнике в среднем километров пятьдесят-восемьдесят. Проиграй мы хоть одну войну, наша страна и, надо полагать, немало ее граждан были бы просто уничтожены.

И все же, ничуть не умаляя важности этих побед, войны – это скорее повод для скорби, нежели для чего-либо иного. Поэтому не будем о славе и национальной гордости, слишком часто связанных с военными успехами и вечно сопутствующими им трагедиями, продолжим о забавных и малоизвестных особенностях нашего средиземноморского ломтика рая.

Миниатюрность самой нашей страны курьезно сочетается с манией несообразного величия, присущей многим относительно своей родины, но особенно смешной в нашем случае. Израильская мегаломания всеобъемлюща и не ведает границ. Вот, к примеру, леса. Большинство наших лесов и рощами-то не обзовешь – небольшенькое скопище чахлых деревцев и кустиков. То, что у нас называется гордым словом “лес”, в России или, скажем, в Канаде вообще никак не называется.

Или горы. Я намеренно всякий раз при упоминании “горы” Кармель брал слово “гора” в кавычки. Кармель, при всем уважении к богатой истории, никакая не гора, а разветвленная гряда холмов, наивысшая отметка которой 545 метров. В области Хайфы отлоги гряды образуют небольшой мыс, где издавна располагается торговый порт, и высота жилых районов, раскинувшихся на побережье и на гребнях холмов, колеблется от нескольких десятков до пары сотен метров. Вероятно, те, кто так ее назвали, настоящих гор и в глаза не видывали.

Или моря. У нас страна с гулькин нос, зато аж четыре моря. Ладно, Средиземное и Красное – они действительно самые взаправдашние моря. Но Мертвое море уж никак не море, да, впрочем, и не мертвое. И четвертое – Галилейское море – тоже совсем не море, несмотря на то что в Библии его именуют морем и что именно там Иисус бродил по воде. Более современное его название – Тивериадское озеро. Это такая местная лужа, максимальная глубина которой около сорока метров. И эту лужу, где не то что Иисус Христос, а даже лягушки ходят пешком, до сих пор нередко величают гордым словом “море”. Для сравнения: Каспийское море, естественно, тоже никакое не море, но оно-то почти в семнадцать раз больше Израиля со всеми его потрохами.

Раньше Тивериадское озеро служило важным источником питьевой воды, и всякий раз, как из-за засухи уровень нашего “моря” снижался на полтора-два метра, начиналась повальная истерия, объявлялся национальный кризис и СМИ, галдя наперебой и захлебываясь от профессионального азарта, предрекали скорый и неотвратимый каюк всем и вся. С тех пор мы изобрели дешевые и эффективные методы опреснения морской воды, и теперь передовицы, писанные с неменьшим азартом, пестрят иными страшилками.

И, наконец, пару слов о наших “реках”. Как выразился мой друг Дорон, израильская речка – это нечто вроде того, что получается, когда какой-нибудь русский алкоголик справляет малую нужду (это само по себе выпуклое сравнение также свидетельствует о богатырской мощи русского человека в представлении местных жителей). Нет, серьезно: у нас чуть ли не каждый сезонный ручей занесен на карту, имеет свое гордое название и является туристической достопримечательностью.

Во время дождя такое природное явление действительно смахивает на ручей, и потом еще пару часов вполне себе ручей, бурный и, можно сказать, стремительный. А назавтра – ни реки, ни ручья, а просто извилистая канава. В дословном переводе с иврита это называется “эпизодический наводненческий” ручей. Летом, например, я – дитя бетонных джунглей – ни за что бы не распознал классическую израильскую

речку, даже будь она у меня под носом. И, скорее всего, не только бы не распознал, а без указательного знака даже никогда бы не догадался, что это река, или ручей, или русло чего бы то ни было.

Вот так в Израиле обстоят дела с горами, реками и морями, да чего уж там, и большинство городов Израиля лишь отдаленно напоминают полноценные. Хайфа, один из трех основных городов страны, в список побратимов которой входят такие культурные центры как Санкт-Петербург, Бостон, Сан-Франциско, Шанхай, Одесса, Дюссельдорф, Марсель и другие, сама по себе весьма невелика. Да и весь наш хваленый Израиль раза в полтора меньше Москвы по населению и вдвое меньше московской области по территории.

Город Хайфа, как я выше позволил себе выразиться, раскинулся на склонах “горы” Кармель… хотя, по-хорошему, и слово “город”, и слово “раскинулся”, ввиду скромных размеров, тоже можно смело брать в кавычки. Хайфа славится атмосферой дружелюбия и терпимости – как религиозной, так и национальной. Основную часть населения составляют евреи, из которых около трети русскоговорящие. Еще тут проживает довольно много арабов – христиан и мусульман, а также друзы – жутко законспирированная этноконфессиональная группа, заслуживающая отдельного разговора.

В городке Хайфа расположен вполне неплохой инженерный институт, называющийся Технион. Бытует мнение, что Технион входит в десятку лучших учебных заведений мира, но не стоит забывать, что такие легенды возникают в тех же экзальтированных умах, где рождаются “гора” Кармель, “Мертвое” “море” и Галилейское “море”, так что давайте все воспринимать в пропорции.

Когда мой друг Дорон, с которым мы познакомились, будучи магистрантами, приехал в калифорнийский университет Беркли поступать в аспирантуру и стал гордо заявлять, что он учился в (самом!) Технионе, его постоянно переспрашивали:

– Техни… Техни… что?
– Он! Техни-он, – твердил Дорон сперва в недоумении, но с каждым разом все более иронично. – Технион. On. Не off, а on.

И напоследок немного эпатажа: главный экспортируемый Израилем продукт – это не хайтек, не гаджеты и даже не апельсины, а новости. Мы постоянно ухитряемся что-нибудь отчебучить и демонстрируем рекордные показатели в лентах мировых новостей, если брать на единицу площади или на душу населения. А в абсолютных числах основным нашим конкурентом в этом сомнительном виде спорта, как мне

кажется, является Россия, граждан которой хлебом не корми – дай полюбоваться, как глава их государства отжигает на международной арене.[30]

* * *

Вот, собственно, и все. Быть может, вышесказанное звучит не слишком патриотично, зато искренне. А патриотизм… Хоть из текста, вероятно, можно заключить обратное, Израиль я довольно-таки люблю. Люблю непростой любовью, как это зачастую и свойственно настоящим чувствам. Да, этот фрагмент не блещет патриотизмом, особенно если смотреть на него сквозь узкую прорезь оголтелого фанатизма. Где-то я слышал изречение, которое дословно не помню, но суть его сводится к тому, что патриотизм – это когда куча навоза на площади родного города милее клумбы георгинов в чужой стране.[31]

Или еще более резкое, но не менее меткое замечание: “Патриотизм – это оружие ксенофобии. Патриотизм основан на ненависти, страхе, вранье и непримиримости. Он отвратителен, мракобесен и разрушителен”[32].

Центропупизм и мегаломания, естественно, в той или иной мере присущи всем народам. Всем лестно мнить себя самыми-самыми, причем абсолютно во всем. Однако нет ничего хорошего и есть много плохого в том, чтобы доводить любовь к родине до слепого фанатизма. И когда куча родного навоза становится милее чужих георгинов, пора что-то предпринимать. Но не в добрых традициях истовых патриотов – с оружием в руках, огнем, мечом, стратегическими бомбардировщиками и баллистическими ракетами, – а как можно более толерантно и мирно. Исключительно мирно – такими средствами, как юмор, ирония и, на крайний случай, сарказм.

* * *

P.S. Шлифуя этот фрагмент, я таки отыскал точную цитату о навозе и патриотизме, и в результате познакомился с разносторонним творчеством Льва Рубинштейна. В замечательном сборнике эссе “Знаки внимания” автор сокрушается по поводу исчезновения в Москве тараканов и ужасается: мол, как же без них жить. В постскриптуме к этому эссе высказывается робкая надежда, что тараканы все же

---

[30] Господин Редактор настоятельно рекомендует не шутить на такие темы.

[31] Лев Рубинштейн, “Духи времени” – “Есть еще такая штука, как “патриотизм”, означающая, как правило, приблизительно то, что навозную кучу посреди родного огорода предписано любить на разрыв аорты, в то время как клумба с георгинами во дворе соседа ничего, кроме гадливого омерзения, вызывать не должна”.

[32] Ксения Ларина – журналист, обозреватель радиостанции “Эхо Москвы”.

где-то сохранились и пока еще не исчезли окончательно. Так вот, Лев Семенович, заверяю вас: тараканы очень даже есть. В избытке. Хочется верить, что это хоть немного обнадеживает.

А если недостаточно самого знания, что они все еще существуют на белом свете, – уверен, израильский народ не бросит братьев россиян в беде и с радостью предоставит в качестве гуманитарной помощи энное количество отборнейших средиземноморских тараканов.

Новый год и Нобелевская лихорадка

Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил.

Сергей Довлатов

Иногда – совсем нечасто и сравнительно ненадолго – Шмуэль любит тешить себя мыслью, что он настоящий ученый и занимается настоящей наукой с двух больших букв “Н”. За пару дней до Нового года он набрасывается на меня в коридоре и принимается втолковывать, что нужно мыслить широко, метить высоко и стремиться далеко.

– Я хочу, чтобы перед твоим взором маячила Нобелевская премия! – воодушевляется он от звука собственного голоса, раскатисто реверберирующего в замкнутом пространстве.

Я киваю, прикидывая, что очередная придурь рассосется за день-другой, и возвращаюсь к своим делам. А потом вспоминаю… Не знаю, почему я дал слабину. Возможно, тому виной предпраздничное настроение… да и наночастицы уже порядком осточертели.

У меня есть некая идея, придуманная еще лет пятнадцать назад и связанная с применением искусственного интеллекта в медицинской диагностике. Для меня одного такой проект всегда был чрезмерно масштабным. Если взяться всерьез, надо уйти в него с головой на много-много лет. А я слишком ценю личную свободу, чтобы ввязываться во что-либо на длительный срок. Но на фоне наночастиц и под эгидой Техниона перспектива воплощать свои собственные идеи показалась гораздо более привлекательной.

– Прекрасно! Брось все и ваяй! – оживился Шмуэль, пребывавший в послеобеденном благостном разжижении рассудка, когда я заглянул к нему на следующий день. – Бери неделю на подготовку. Но смотри, я хочу настоящую презентацию. Обзор научной литературы, детальный анализ и долгосрочный план! Как на конференции!

Днями и ночами напролет, включая выходные, я “ваял”. Начитался интереснейших вещей, углубил и расширил первоначальную концепцию, и спустя неделю я снова

у Шмуэля. Как бы невзначай, но на самом деле в расчете набить цену, упоминаю, что, несмотря на праздники, все готово, и получилось даже гораздо лучше, чем…

– Ты празднуешь Рождество?! – на полуслове прерывает меня профессор Басад.
– Рождество? Я праздновал Новый год.
– Новый год у нас осенью![33] Что ты такое несешь? Как можно праздновать Рождество Христово?!

Я пытаюсь что-то ответить, но тщетно. Закусив удила, он уже втолковывает мне, кто такой Иисус Христос с древне-иудейской точки зрения. Все вполне предсказуемо, одним словом – шлимазл. Но ограничиться одним-единственным словом Шмуэль не способен. Он фанатично аргументирует, что-то цитирует и, несмотря на то что я давно молчу, ведет себя так, будто у нас бурный теологический диспут. Когда напор напыщенной несусветицы начинает идти на убыль и, кажется, вот-вот иссякнет, профессор Басад ни с того ни с сего брякает:

– А ведь это не евреи! Не евреи его распяли, а итальянцы! – И принимается яростно доказывать этот крайне оригинально сформулированный тезис.

У нас во всем виноваты итальянцы. И я. Заподозрить меня в распятии Христа у Шмуэля фантазии пока не хватает, поэтому – итальянцы. Эти проклятые итальянцы, имеющие, кстати, весьма косвенное отношение к древним римлянам, продали ему микроволновой генератор, который прибыл с опозданием и в котором не функционирует система охлаждения.

Впоследствии окажется, что мы просто не доперли открыть предохранительные клапаны на воздухозаборных отверстиях, но до той поры итальянцы продолжат быть повинны во всех смертных грехах. Затем обвинения будут сняты, однако довольно скоро выяснится, что профессор Басад заказал систему, не вполне пригодную для наших нужд. Я вернусь к старой доброй микроволновке, а итальянцы вновь впадут в немилость.

– Шмуэль, поймите, Новый год – это праздник моего детства, – осторожно произношу я, дождавшись окончания его околесицы. – Это то немногое, что связывает с местом, где я родился. Новогодняя ночь, елка…
– Ты еврей или христианин? – профессор Басад ставит вопрос каким-то уж совсем неуместным ребром.

[33] Рош ха-Шана – еврейский Новый год – празднуют в новолуние осеннего месяца Тишрей.

– Кхм… – я растягиваю паузу, в надежде, что он одумается. – Я атеист. В том смысле, который вы имеете в виду, мне сложно… Да и Новый год… он, собственно, светский праздник… Он не особо связан с религией.
– Ты еврей или не еврей?! – выпаливает он, срываясь на крик.

Настолько хамских выходок я не припомню со времен ухода из школы Зив.

– Я не мыслю в таких категориях.
– Признавайся, ты еврей или не еврей?! – Шмуэль впивается в меня немигающим взглядом, а его лицо приобретает кумачово-красный оттенок.
– Между прочим, “Кто не с нами, тот против нас” – лозунг самого Иисуса Христа, – не удержавшись, процедил я сквозь зубы.
– Что?!
– Ничего, продолжайте, пожалуйста.

Когда я поделился этой историей с моим другом Дороном, он съязвил, что надо было расстегнуть ширинку и наглядно продемонстрировать Шмуэлю мое безупречное “еврейство”. Но в тот момент мне было ничуть не смешно. После того как приступ охоты на ведьм миновал, Шмуэль приподнял кипу, огладил волосы и, пристроив ее на место, разрешил мне, наконец, взяться за презентацию.

Первый слайд – заголовок с картинкой – проходит без сучка без задоринки, на втором – введение – профессор Басад бесцеремонно прерывает меня заявлением, что слово “disease”[34] написано с ошибкой.

– Спасибо, я исправлю.
– Нет, ты должен изначально писать грамотно!

Я согласно склоняю голову.

– Запомни, когда представляешь идеи на конференции, или инвесторам, или… – он останавливается, но не придумав дополнительного примера продолжает с того же места: – …все, включая оформление, картинки, графику, описания, способ подачи материала, обязано быть безупречно. Презентация – это лицо твоей идеи. Витрина, ее дизайн и содержание, по которым судят…

“Графический дизайнер, чьи работы получают наибольшее количество просмотров, это тот, кто оформляет узор туалетной бумаги” – ни к селу ни к городу

---

[34] Disease (англ.) – болезнь, заболевание.

высвечивается у меня в мозгу, пока он долдонит банальные истины. Пожалуй, это и спасает нашу встречу.

– Вы правы, – справившись с раздражением, я несколько раз вдумчиво киваю. – Прошу вас, давайте продолжим.
– Нет, не продолжим. Это крайне важно.
– Шмуэль, я все уяснил. У меня дислексия. Я всю жизнь пишу с ошибками.
– Мои аспиранты пишут грамотно. И тебя я тоже приучу. А уж когда ты защитишься, дислексии у тебя точно не будет!

И так он утюжит меня на тему грамматики где-то с полчаса. Гротескность этой проповеди пикантно оттеняет тот факт, что профессор Басад вот уже семь месяцев никак не удосужится научиться правильно писать мое короткое и, казалось бы, простое имя ни на одном из языков. Хотя можно было бы сделать над собой усилие, если не из соображений столь чтимой им грамматики, то из элементарной вежливости. Постоянно видит его в электронных письмах и документах, и все равно продолжает карябать мое имя по-своему и на английском, и на иврите.

А еще он недавно отколол такую штуку: недели две мы готовили документы для гранта от Ассоциации "войны" с раком. (Это дословный перевод с иврита – тут говорят не "по борьбе", а "войны".) Целыми днями мы вылизывали там все, вплоть до знаков препинания. Но тут надвинулась его священная суббота, и профессор Басад просто взял текущую версию с остаточными ляпами, присобачил к электронному письму и озаглавил его "Ассоциации войны" – без всяких там "с раком". Приписать в верхнем углу "басад" он, естественно, не забыл, зато следующая строчка выглядела так: "Уважаемая коллегия Ассоциации Войны!" Слово "рак" в письме ни разу упоминалось, зато войны было хоть отбавляй. Как несложно догадаться, грант от них мы не получили.[35]

…Закончив наставление о первостепенной важности правописания, он как-то обмяк, потер воспаленные веки и милостиво позволил мне возобновить презентацию. На третьем слайде профессор Басад первый раз зевнул и стал клевать носом. На пятом – прикрыл глаза, свесил голову на бок и разве что не захрапел.

– Шмуэль,.. вижу, вы устали. Может, вернемся к этому в следующий раз?

---

[35] Господин Редактор отметил это предложение, но что именно ему не понравилось, так и осталось неизвестным.

Он встрепенулся, недовольно нахохлился и велел продолжать. Я говорю и на него поглядываю, а он снова сник и уже посапывает. Я беззвучно выматерился. Вхолостую прокрутил на экране элегантные и емкие слайды, над формулировками и оформлением которых трудился не покладая рук и почти не спал последние дни, свернул презентацию и закрыл лэптоп. Еще раз обвел его долгим ненавидящим взглядом, поднялся и направился к двери.

– Ты куда?!

Я обернулся, стискивая зубы.

– Все это очень… кхм… занимательно, но никак не относится к твоей диссертации, – заявил он, поправляя кипу и ощупывая лоб и бороду, словно они могли поменяться местами, пока он спал. – Что ты ходишь вокруг да около?! Где результаты? Ты вообще сделал хоть что-то из намеченного на неделю?!
– Но вы же велели отложить все в сторону…
– Есть план диссертации, в нем все четко указано. Порядок, очередность, сроки. Ты его подписал и теперь обязан исполнять. Остальное – идеи, мечты – это прекрасно, но в свободное время и только после согласования со мной. Почему мне приходится разжевывать элементарные вещи? Ты аспирант или Дон Кихот?!

После таких эскапад в моей голове всю ночь крутится бетономешалка, а наутро я встаю с совершенно зацементированными мозгами. Если есть возможность не идти на факультет, я весь день целенаправленно отсыпаюсь. Хоть урывками, хоть как угодно. Мне необходимо проложить между текущим моментом и минувшими событиями как можно больше ватных прослоек сна.

Господин Редактор

Долгое время я не решался приступить к описанию Редактора и наших взаимоотношений. С одной стороны, надо, чтобы вышло едко и иронично, с другой, – чтобы Редактор, полюбовавшись на эти художества, не послал меня вместе с новым романом куда подальше. А с третьей, я уже рассовал по тексту отсылки к этому фрагменту, так что отступать некуда. Придется как-то выкручиваться.

Итак, прочитав мой первый роман, Господин Редактор прежде всего заявил, что это не роман. А повесть. “Потому что роман – это эпическое произведение, где много сюжетных линий. А у тебя линия одна, и поэтому – повесть, а будь объем поменьше, и вовсе был бы рассказ”. Отстаивать “эпичность” я как-то не решился, зато попробовал возразить, что, следуя его логике, романов, написанных от первого лица, вообще существовать не может.

Это не произвело на Господина Редактора особого впечатления, он снисходительно глянул на меня, как мэтр на дилетанта, и продолжил: “Рассуждения на отвлеченные темы надо сократить, а лучше совсем убрать”. И припечатал: “Потому что они не содержат никакого смысла”. Затем немного смягчился и прибавил, что они в принципе могли бы быть интересны, но там – в “нероманe” – просто ни к селу ни к городу.

В довершение разгрома меня как несостоятельного автора, Господин Редактор присовокупил, что наличие эпиграфов у глав… Я там кропотливо подбирал к каждой из двадцати с чем-то глав по эпиграфу. Порой месяцами. Так вот, наличие эпиграфов низводит текст до уровня школьного сочинения, заключил он. Потом спохватился и добавил, что, собственно, и то, как текст разбит на главы оставляет желать лучшего, и мои главы фактически не главы, а невесть что.

“Неглавы” в “нероманe”… само собой сложилось у меня в голове, эхом заметалось и притихло, затаилось.

Пока я переваривал услышанное, начался разнос мировоззрения главного героя и его морального облика. “Он какой-то… не от мира сего, – поставил диагноз Господин Редактор. – Посторонний человек. Камю”. Остальным персонажам тоже досталось на орехи. Тех, кого я замышлял интересными, казались ему банальными и инфантильными, а те, чье поведение высмеивалось как неадекватное, ему импонировали. Тогда я еще не подозревал, что текст можно трактовать не просто

по-разному, но и с точностью до наоборот, и искренне недоумевал, как Редактор ухитрился увидеть все в таком ракурсе.

Дальше последовали ожидаемые упреки в использовании ненормативной лексики и частом упоминании наркотиков – то есть в нарушении сразу двух табу русской литературы. Я без особой надежды заметил, что никто, собственно, и не претендует на эталон добродетели, а касательно трезвого образа жизни – в русской прозе за редкими исключениями каждые десять, если не пять, страниц либо бухают, либо похмеляются.

Словом, не нравилось этому кренделю абсолютно все. Так продолжалось довольно долго, и не то чтоб я был категорически не согласен, или думал, что тотальное охаивание доставляет Господину Редактору удовольствие, но в совокупности это переходило некую критическую массу.

Обрушив шквал язвительных замечаний, Господин Редактор огорошил меня заявлением, что автомобиль Челленджер (есть там такой сквозной образ) не может быть того года выпуска, который указан в рукописи. Так как (и он это проверил) в то время производство этой модели было приостановлено. “У-у… въедливый” – подумал я и тут же перепугался, вспомнив, что эта дата с чем-то связана, а то – перекликается еще с чем-то… и какая жуткая карусель изменений завертится, если и вправду окажется… Впрочем, суть не в этой конкретной дате. Признаюсь, сперва я панически шарахался любой мельчайшей правки или комментария. Однако вернемся к Редактору. Такое внимание к деталям приятно удивляло, особенно если учесть, что с текстом страниц в четыреста он ознакомился всего за два вечера.

Ах, да… я так и не пояснил, почему прозвал его Господином Редактором. Поначалу он держался с подчеркнутой степенностью и даже с несколько напускным высокомерием. Стремление к точности в деталях и разносторонность критики – впечатляли, а заносчивость – совсем нет. Такая манера держаться вызывала улыбку. В силу долгого проживания в Израиле я даже склонен над ней подтрунивать. Тут принято вести себя раскованно и неформально, что, на мой вкус, подчас переходит в чрезмерное – и потому назойливое – панибратство. К людям, безотносительно к разнице в общественном положении или в возрасте обращаются запросто – на “ты” и по имени. Отчеств нет. А во множественном числе человека могут назвать, разве что если у него раздвоение личности.

Хотя, возвращаясь к степенности, у меня самого есть в чем-то схожая с Господином Редактором манера задаваться, рисоваться и не к месту надувать щеки. И наверняка, со стороны я порой смешон. Сознавая наличие такой черты характера

(и это военная хитрость, о которой никто не должен узнать), я скрашиваю ее самоиронией. Там-сям, не без расчета, подшучиваю над своими замашками. Тут два стратегических преимущества: во-первых, я лишаю окружающих возможности надо мной потешаться, а во-вторых, сбиваю их с толку противоречивыми выпадами и всяческими выкрутасами. Венечка Ерофеев утверждал, что самый большой грех по отношению к ближнему – говорить ему то, что он поймет с первого раза. И Ерофеев, несомненно, прав.

Однако мы не о Венечке, а о Господине Редакторе. Впоследствии Редактор бросил манеру важничать, и общение стало более непринужденным. Но я и по сей день его так иногда называю. Тем паче, что Господин Редактор не возражает. Я даже подозреваю… (только учтите – это тоже большой-большой секрет) …Я полагаю, что ему нравится.

Как видите, встреча, на которой в первую очередь надо было понять, сможем ли мы работать вместе, вызвала множество эмоций. Но то, что меня подкупило и склонило чашу весов – это предостережение, сказанное напоследок. Господин Редактор предупредил, что не собирается делать мне поблажки, несмотря на общие опасения, что каждая коррекция текста будет проходить со скрипом. И из профессиональной гордости он намерен отстаивать каждую правку.

И вот разверзлись небеса, апокалипсис надвинулся вплотную, и началась долгожданная и так страшившая меня редактура. По настоянию Редактора я внес несколько глобальных изменений – кое-что укоротил, кое-что пояснил подробней, и мы приступили к более детальному разбору текста. Нам удалось сравнительно легко одолеть с десяток первых правок, и тут я гляжу на вычеркнутое им слово и спрашиваю:

– Слушай, что тебе в прилагательном “вящий” не понравилось?
– Смотри,.. только без обид, но это смешно. У тебя… понимаешь, в чем дело… – Редактор подыскивал формулировку потактичней, чтобы не задеть ранимую творческую натуру, – тут нет… опять же, без обид, главная проблема твоего текста в том, что нет единого стиля. Мешанина… Короче, “вящий” – это устаревшая форма.
– Так я иронизирую… Каждый раз, когда я начинаю городить напыщенные фразы – это для гротеска.
– Ну иронизируешь. Ну гротеск. Но если бы это была прямая речь, то можно бы оставить, но тут говорит рассказчик. Понимаешь, персонаж может быть шутом, если тебе так хочется. А рассказчик должен выражаться нормально. Без клоунады. Ты используешь слово “айтишники” – это понятно, современный язык. И в том же

абзаце возникает какой-то “вящий”. То есть, не знаю там… Идет отсылка к Радищеву. Ну, это… Хреново.

Я расхохотался. Получилось действительно смешно.

– Это мой стиль! – гордо провозгласил я.
– Это не… Это не стиль. Это… как тебе сказать…

Он произнес это так выразительно, что я снова рассмеялся. Продолжать спор было бессмысленно. Но остановиться я, естественно, не смог.

– Есть принципы стилистики, – втолковывал мне Господин Редактор. – Вящий – устаревшее слово. Если бы ты хотел подчеркнуть некую особенность, скажем… “Он ходит с тростью, в цилиндре и с болонкой на поводке…” – тогда мог бы быть уместен какой-то “вящий”.

Я сопротивлялся. Спорил. Поначалу я так судорожно цеплялся за каждое слово, будто у меня отбирают роман, или текст без этого слова рассыпется. Признаться, я был не подарок. Да что там, абсолютно невыносим, и превзошел сам себя в ослиной упертости. А Редактору в тот раз пришлось громить меня еще довольно долго.

– Как вообще?.. Не понимаю, где ты такое нарыл? У тебя же куда не ткни – все “вящее”.

Начиная писать, я экспериментировал – выдумывал множество теорий и применял к месту и не к месту. Одна из них гласила, что текст – это в каком-то смысле просто набор слов. И если расцветить его как можно большим количеством красивых, витиеватых и необычных словечек и выражений, это уже само по себе будет интересно и впечатляюще.

“Почему бы не использовать в полную силу возможности языка? Или как минимум в меру моих сил…” – задал я себе вопрос и, не найдя веских контраргументов, взял эту тактику на вооружение.

В дело шло все, что подворачивалось под руку: книжные, высокопарные и устаревшие выражения – я употреблял для подчеркивания гротескности или утрирования; канцеляризмы – для оттенения офисного абсурда; неологизмы, разговорную и жаргонную лексику – для разнообразия и той самой клоунады.

Смешав это добро как можно более причудливо, я громоздил из него длиннющие сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Всякий раз, услышав или вычитав где-нибудь лакомое словечко, я бросал все и пыжился, и тужился втиснуть его в роман. Если сразу не удавалось – заносил в отдельный файл и при случае возобновлял эти титанические усилия. Иногда получалось неплохо, иногда это были попытки впихнуть… напрашивается – "невпихуемое", не в пику Господину Редактору, просто выражение емкое. Однако, как я теперь понимаю, именно такого рода стремления подчас порождали откровенно дикие словесные конструкции.

Кроме того, я чрезмерно увлекался словотворением, сращивая из разных корней, суффиксов и префиксов диковинные буквообразования, и лепил из обломков существующих фразеологизмов каких-то мутантов собственного производства.

Так и подмывает, в память о добрых временах, нагромоздить ему и тут подобных "перлов". Вы не против?

Ладно, шутки в сторону. Господин Редактор – ярый поборник канонических форм – неустанно охотился за моими стилистическими гибридами и буквонедоразумениями, потрясая толковыми словарями и ссылаясь на лингвистические авторитеты. А я оголтело бросался на защиту каждого детища моей воспаленной фантазии и тоже стал брать на вооружение компетентные источники.

Я приводил бесчисленные примеры того, как известные писатели, взять хотя бы Платонова или Хлебникова, скручивали слова и образы в бараний рог. Редактор поглядывал на меня с укором, вероятно, подразумевая, что до Хлебникова, и уж тем более до Платонова, мне пока далеко. Тогда я еще не выдумал фокус чуть что заявлять: "Во всем виноват Аствацатуров", и жить было гораздо сложнее. Ох,.. вы же еще не в курсе, при чем тут Андрей Аствацатуров… Ну, пока просто запомните это имя, а скоро я поведаю вам, почему именно он во всем виноват.

Так вот, до Платонова – далеко, отбояриваться Аствацатуровым я еще не научился, зато где-то к середине редактуры мне посчастливилось наткнуться у Алексея Толстого на фразу "У него стало тошно в ногах" и загадочное словосочетание "огненные вопли", втиснутое в еще более нелепое предложение[36]. Теперь-то я

[36] "Торопливым любовникам, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Эйфелевой башни, было не до шелеста листьев, не до любви" – "Гиперболоид инженера Гарина", Алексей Толстой.

ужучу этого Редактора, – воодушевился я и, как последний козырь, принялся утверждать, что если у признанного классика могло стать тошно в ногах, то писать позволительно уже вообще что угодно и как угодно.

Я апеллировал и к другим известным авторам. И даже заметил за собой, что, читая книги, невольно выискиваю прецеденты для нестандартного использования слов и оборотов. Я заготавливал боеприпасы и собирал “коалицию” литераторов, при помощи которых намеревался отбиваться от Редактора на следующей встрече.

– Почему нельзя испытывать на прочность русский язык?! – патетически восклицал я. – Он же велик, могуч и вряд ли развалится.
– Он-то не развалится, – устало вздыхал Редактор, – развалиться может только твой… кхм… нероман. И не стоит испытывать читательское терпение. Тем более, часть из них неплохо знает этот самый русский язык.

Конечно, всегда непросто выслушивать критику. Особенно на свой первый серьезный текст и в таких объемах. У количества замечаний, как бы они ни были справедливы, есть кумулятивный эффект. С одной стороны, я не мог дождаться, когда Господин Редактор соизволит закончить вычитку очередной главы, а с другой – боялся туда заглядывать.

И тут, когда от обилия придирок у меня начал заходить ум за разум, я вдруг обнаруживаю в истерзанной Редактором главе фразу с примечанием “красиво”. Это ошарашило меня похлеще всей предыдущей критики. “Так-с, – подумал я. – Интересно… Если только на данном этапе выясняется, что в арсенале Редактора есть и такая ремарка, значит… как бы это помягче… Получается, что в первых пятидесяти страницах ни одного красивого предложения не нашлось?”

Помню, еще какое-то время я, затаив дыхание, перелистывал новые исправления в надежде вновь удостоиться поощрения Редактора. Не ручаюсь, но, вроде, такой сюрприз больше не повторялся.

Тем временем охота на стилистические гибриды продолжалась. За некоторые абзацы шли изнуряющие кровопролитные бои. Батальоны смертников, ковровые бомбардировки, заградотряды… Братские могилы пополнялись трупами безжалостно вырезанных из текста уродцев – “плодами моих потуг на внесение собственной лепты в изящную словесность”. Примерно от таких высокоштильных пассажей вперемешку с неологизмами особенно корежило Господина Редактора.

– Так получше? – сдаваясь после очередной стычки, я, наконец, отступался от какого-нибудь особо заковыристого порождения моей буйной фантазии и соглашался заменить его на нечто более конвенциональное и удобоваримое.
– Ты же знаешь, я бы…
– Знаю-знаю, ты бы тут полтекста вырезал. Но в условиях…
– Приближенных к боевым?
– Ага, максимально приближенных!
– Ладно, пусть будет так. Но я бы еще убрал…

Постепенно мы учились лучше понимать друг друга и все меньше сражались за каждую запятую. Наша совместная работа качественно преображалась, вырабатывалось взаимопонимание и доверие. Я стал не так болезненно реагировать на замечания и прекратил ожидать хвалебных воздаяний. Но далеко не сразу и не бесповоротно. То и дело вспыхивали вооруженные конфликты. То там четыре роты полегли за нелепый абзац, то здесь дымилась пара танков, подбитых в скоротечном и яростном бою за некую идиому.

– Настаиваешь? – кривился Редактор, косясь на какой-нибудь очередной из моих перлов.
– Ну, не то что я стану за это биться насмерть… Но чем плохо?

Оказалось, Господин Редактор тоже завел файл, куда складывал особо пикантные из моих перлов. Должно быть, где-то и по сей день еще хранится этот список. Интересно, сколько слов и выражений перекочевали из моего набора лакомых словечек в его цитатник жемчужин Яна Росса?

Оглядываясь назад и учитывая, какое количество глупостей он исключил из текста, я порой думаю, насколько же проще было бы переписать их напрямую из моего файла в его, минуя споры, баталии и взаимное раздражение. Но мне требовалось время, чтобы переосмыслить свое видение, и Господину Редактору порой приходилось проявлять чудеса не только настойчивости, но и поразительного терпения.

Под напором его доводов, теорию о том, что диковинные слова и обороты речи непременно придают тексту емкость и выразительность, пришлось пересмотреть. Редактор укокошил наиболее вящих монстров и тоже несколько смягчился, стал менее непримиримо настаивать на соблюдении догм, прекратил без разбора крушить нестандартные выражения, и мы все реже проливали по пол-литра крови из-за какой-нибудь несущественной формулировки.

Наши пререкания, какими бы ожесточенными они ни были, оставались яркими, насыщенными и зачастую веселыми. И порой переходили в плодотворное сотрудничество, когда мы принимались вместе перефразировать неудачные формулировки. Мы могли часами самозабвенно дискутировать о тончайших оттенках оборотов и идиом. На стыке наших противоречий рождались красивые штуки, и я почерпнул для себя массу полезного, даже из казавшихся тогда несносными замечаний.

Однако был еще организационный момент, поначалу представившийся комичным, но вскоре начавший не на шутку меня раздражать и подливать масло в огонь наших трений.

Один из побочных конфликтов романа разворачивается вокруг опозданий главного героя на службу. Ему приходилось летать на работу, и он регулярно опаздывал минут на пять из-за расписания самолетов. Такое отношение к должностным обязанностям возмутило Господина Редактора до глубины души. Он долго и гневно корил персонажа и даже заявил, что расписание – это не довод и не повод! И раз так – надо было вылетать предыдущим рейсом (на час раньше) и приходить вовремя.

Поразительная требовательность к пунктуальности, особенно если учесть, что никакого нормированного трудового дня у этого персонажа не было, работал он преимущественно один, и от него напрямую никто не зависел. А маниакальное настаивание на этих пяти минутах задумывалось как придурь начальника. Какова же должна быть внутренняя дисциплина, чтобы ухитриться увидеть все в таком свете? Удивительно!

Удивление длилось вплоть до начала совместной работы. Тут меня ждало еще более ошеломительное открытие. Сам Господин Редактор оказался абсолютным мировым чемпионом в смысле опозданий, проволочек и прошляпивания назначенных встреч.

Я прорабатывал его правки, мы договаривались, скажем, на три часа дня в субботу. В три часа пятнадцать минут я начинал названивать, но он не отвечал. Через часа два приходило сообщение, где, сославшись на непредвиденные обстоятельства, он предлагал перенести на семь. В семь он писал, что задержался, и переносил на восемь. Каждый раз следовала новая история – то Аннушка разлила масло, то кошка съела мышку, то мышка схомячила кошку. И в конце присовокуплялось нечто вроде “если тебе удобно”. Так затягивалось до глубокой ночи. Не вполне ясно, о

каком удобстве шла речь, если весь день напролет я каждый час-два готовился к встрече, которая постоянно откладывалась.

Ночью он звонил, сокрушенно извинялся и предлагал, “если мне удобно”, перенести на завтра. Ведь поздно уже, а он как-то устал.

– Завтра – так завтра. Но давай уже сядем и разберемся с правками.
– Да-да, разумеется!

На следующий день история повторялась. Раз пять назначалось время, я выслушивал еще три-четыре отмазки, и все заканчивалось договором на понедельник вечером.

В условленное время, как вы догадываетесь, снова что-то приключалось. Особенно мне “нравилось”, когда он не просто не появлялся, а вдобавок и не отвечал на телефон. Это сводило меня с ума. В понедельник все переносилось с восьми на одиннадцать, потом на полночь, но в полночь он не брал трубку, и когда я, наконец, дозванивался в час ночи, он ласково отзывался:

– Я тут… мм… ужинаю. Можно я, пожалуйста, доем? – спрашивал Господин Редактор с обезоруживающей застенчивостью, будто я застал его в неглиже. – Доем и перезвоню, ладно? Если тебе, конечно, удобно.

Не знаю, чем именно подкреплялся уважаемый Господин Редактор, но перезванивал он спустя часа полтора, и в итоге только в три ночи мы приступали к делу. Как ни крути, понятие “удобно” с этим форматом совместной работы никак не вязалось.

Однако самым очаровательным было даже не это. Пикантной изюминкой его “эпического” опоздунства являлось следующее: вышеописанное вовсе не мешало ему где-то там в четыре часа утра, наткнувшись на очередное пятиминутное опоздание героя, продолжать порицать его за эти несчастные минуты после десяти-пятнадцати им самим продинамленных сроков.

Правда, на каких-либо изменениях этого аспекта бытия героя Господин Редактор не настаивал, просто сетовал на непорядочное поведение, а я встречал его упреки истерическим хохотом.

Как видите, процесс редактуры получался насыщенным и интенсивным. И, в силу множества противоречий, непростым для нас обоих. К середине редактуры он

порядком меня доконал. Догадываюсь, я достал его ничуть не меньше. Задолбал, затюкал порой (сейчас я уже готов это признать) абсолютно бессмысленными препирательствами о всяческих вящих монстрах и придирками к его опозданиям.

И вот мы добрались до описания сна, сотканного из лоскутков воспоминаний раннего детства. Есть там такой щемящий кусок, или, во всяком случае, таковым он замышлялся… И тут Редактора разобрало. Он всласть оттоптался на этих моих откровениях.

Натыкал язвительных комментариев чуть ли не на каждое предложение. Даже не правки, а так – забавный стеб. То есть ему, возможно, это казалось забавным. Но мне-то в тот момент было уже не смешно. Помню, я позвонил и нашумел на Господина Редактора. Настоятельно потребовал, чтобы он угомонился и впредь постарался как-то полегче на поворотах.

Самое время привести леденящий душу пример такого замечания и процитировать последующий разбор полетов. Но мы опустим этот художественный изыск и продолжим дальше, оставив за кулисами маленькие секреты нашей с Редактором кухни. Тем более что без многочасовых неистовых споров и дотошнейшего вникания во все вообразимые смысловые оттенки и общий контекст невозможно передать тогдашний накал страстей.

Скажу лишь, при следующем обсуждении этого сна он старался говорить со мной как можно деликатней, чуть ли не как с душевнобольным.

Вот, пожалуй, почти все, что я хочу на данном этапе сообщить о Господине Редакторе. Но не расстраивайтесь: вы еще встретитесь с ним в тексте, и, если не принимать во внимание нижеследующую оговорку, его душевное тепло присутствует и недреманное око незримо витает где-то в и над этим повествованием.

И пусть теперь только попробует заикнуться о неконвенциональной структуре предыдущего предложения, и я гарантирую ему эпическую баталию часа на полтора!

Напоследок добавлю, что мы и по сей день не сошлись во мнениях по вопросу, является ли роман “Челленджер” романом или не романом, хоть и не раз препирались на эту тему и во время редактуры, и даже после. И если тогда был общий сюжет и аж две сюжетные линии… Кстати, и насчет количества сюжетных линий у нас были разногласия. Редактор настаивал, что линия одна. Но не в том

суть, еще раз – если тогда наличествовал сюжет, тесно сплетенные им главы, хронология событий и иные прямые или косвенные признаки романа, и все равно мне не удалось убедить Господина Редактора, что мой первый роман – действительно роман… Даже не знаю, что же будет теперь, когда мы вновь столкнемся с подобным вопросом.

Если, конечно, Господин Редактор согласится быть редактором моего второго “творения”, после того как ознакомится с этим фрагментом.

x x x

Послесловие или Реквием по редактуре

Сбылось мое самое мрачное опасение: полноценная редактура не состоялась. Не то чтобы Господин Редактор разобиделся и отказался, хотя, разумеется, для проформы поворчал. Но загвоздка была не в этом. Он сделал ознакомительную читку, выдал немало дельных замечаний и указал на необходимые дополнения. Я все это переварил, исправил и дописал, мы обозначили сроки, и начался процесс редактуры. И…

И… на этом фронте воцарилась гробовая тишина. Опущу все свои переживания и ограничусь фактами. К намеченному сроку Господин Редактор осилил один фрагмент из двадцати трех. И то – лишь частично, так как наш метод работы состоял из двух этапов. Он ставил понятные одному ему пометки в виде подчеркиваний, выделений разными цветами и тому подобного, а затем мы садились и бурно их обсуждали. Так вот, по окончании первого срока редактуры был готов лишь набор загадочных пометок на один-единственный фрагмент.

Потом был и второй, и третий – последний – срок, перед которым я приехал к Редактору без предупреждения, и между нами состоялся серьезный разговор. Однако и это не помогло. И дело уже было не только в пунктуальности – работа Господина Редактора стала все больше смахивать на халтуру, чем на редактуру. Под самый занавес заключительного акта этого трагифарса, длящегося уже больше полугода, Редактор предпринял неожиданную попытку создать видимость кипучей деятельности. Он взял и часа за два добил шесть-семь глав и так же внезапно застопорился где-то посередине романа. Наплевательство так и бросалось в глаза – общее число правок во всех этих фрагментах оказалось меньше, чем в первом и далеко не самом длинном рассказе.

Такие дела…

Так что, к сожалению, в дальнейшем колкие и меткие вставки Господина Редактора с антитезами к высказываниям самовлюбленного главного героя будут встречаться гораздо реже. Однако мы не прощаемся с Редактором окончательно. Была ведь ознакомительная читка, ее обсуждение, и у меня все-все записано. А кроме того, – и это, пожалуй, самое страшное – теперь мы с вами один на один. И некому защитить вас, дорогие читатели, от моих литературных бесчинств.

Азриэли, Дина и Миша без крыши

В конце января меня нежданно-негаданно выдвинули представителем факультета на соискание стипендии Азриэли. Господин Давид Азриэли, учредивший благотворительный фонд, был израильско-канадским строительным магнатом, нагромоздившим по всей нашей стране свои торговые центры.

– Стипендия чрезвычайно престижная. Не оплошай. Я приложил немало усилий, чтобы убедить декана, – Шмуэль смерил меня долгим многозначительным взглядом и, сменив тон, насмешливо добавил: – Правда, не знаю, награда это или наказание.

Эта фразочка мне сразу не понравилась. С такой интонацией он обычно сообщал плохие новости, подслащая их юморком или излюбленными цитатами из Священного Писания. Однако истинные причины сарказма выяснились много позже, когда оказалось, что мне светит чисто символическая надбавка к стандартной аспирантской стипендии, в то время как львиную долю захапают Технион и факультет.

А пока я корпел над кипой бланков, условий и требований, один объем которых наглядно иллюстрировал степень того самого наказания. На двадцать девятой странице одного из отупляюще занудных документов, после немыслимо въедливых вопросов о моем образовании, научной карьере и опыте работы, начиналась мутотень, озаглавленная “Личные заслуги”:

Опишите значительную добровольческую деятельность, в которой Вы участвовали. (Благотворительность, работу эмиссара за рубежом, участие в молодежных и/или студенческих движениях и т.д.) Каков был Ваш личный вклад, чему Вы научились и что почерпнули из этого опыта?

Опишите происшествие, в котором кто-то продемонстрировал лидерство, оказавшее существенное влияние на Ваше мировоззрение и личностное развитие.

Расскажите о двух ключевых событиях в Вашей жизни: одном из детства и одном из взрослой жизни.

Как Вы видите свой личностный и карьерный рост в течение следующих десяти лет?

И дальше в том же духе. Венчало это все претенциозное футурологическое требование:

Составьте краткий очерк того, как Вы представляете страну Израиль через двадцать лет.

На каждый вопрос рекомендовалось отвечать в объеме не менее одной страницы. Все, разумеется, на английском. На ветхозаветном языке – иврите – серьезные научные сотрудники серьезные бумаженции не пишут.

По запредельному уровню ханжества вопросника сразу становилось ясно – придется врать напропалую. Ни единого искреннего слова. Даже просто честного. Нет. Надо убеждать их, что я буквально эталон для конвейера американских грез. Прыгать и взвизгивать от свинячьего восторга. Пыжиться и улыбаться до вывиха челюстей. От необходимости симулировать ура-патриотизм и образцовую правильность стало тошно и муторно.

Ты все-таки писатель, – вздохнул я. Но приободрило это ненадолго, тут же фраза сама собой дополнилась: – Да, ты же собирался стать писателем, а не клавиатурно-конъюнктурной проституткой. Я постарался вывернуть эту мысленную траекторию наизнанку. Сейчас я им напишу, ох, напишу,.. – вскипало в голове, пока я неуклонно приближался к нужному градусу раздражения. Так напишу, чтоб подавились.

Я открыл текстовой процессор и с почти чистой совестью настучал, что вот уже пять лет добровольно помогаю двум пожилым людям. Моя знакомая Дина вполне тянула на двоих. И по размерам, и по всему остальному.

Дина была соседкой по одной из съемных квартир, откуда я давно съехал. Семидесятилетняя “жирная полячка”, как она себя называет, отличается не только внушительной корпулентностью, но также незаурядной индивидуальностью и саркастичностью взглядов. Выйдя на пенсию, Дина решила, что ей уже все дозволено. И этими взглядами, подкрепленными полученным в молодости образованием психиатра, принялась делиться щедро и с душой – с кем попало и без всякого разбора. Смутить ее невозможно. Она способна заткнуть за пояс кого угодно, показать любому оппоненту, где именно зимуют раки, или, как выражаются на иврите, продемонстрировать, откуда писает рыба.

Стоит Дине разинуть рот, а за словом в карман ей лезть не приходится, – и оказавшиеся в зоне поражения либо столбенеют, либо шарахаются в ужасе. По воздействию на окружающих Дина сопоставима со светошумовой гранатой.

Чтобы Дина своими необъятными телесами и эксцентричными всплесками не перекосила и без того хрупкую конструкцию повествования, рассказ о знакомстве с "жирной полячкой", написанный давным-давно, еще до того, как я замахнулся на создание крупных литературных форм, будет размещен в конце книги. А вообще о Дине и о ее выходках можно говорить бесконечно.

Однажды она отчебучила вот какую штуку. Выехав в центр, забралась на муниципальную клумбу, откуда таскала цветы, чтобы потом любовно высаживать в саду у своего дома, и накопала целую кучу бегоний. К бегониям у нее особая слабость – Дина вообще любит все красное и кричащее. С охапкой саженцев Дина отправилась в торговый центр, кстати сказать, торговый центр Азриэли, где, скушав тортик, почувствовала, что притомилась и нуждается в отдыхе. Тогда она спустилась на подземную стоянку и улеглась спать на парковку для инвалидов. Цветы, уж не знаю для пущей красы, или чтобы не украли, Дина возложила себе на грудь.

Теперь представьте: синий прямоугольник с изображением инвалидной коляски, на нем пластом лежит пожилая женщина, усыпанная алыми цветами, в контрасте с глянцевой атмосферой торгового центра. Зрелище не оставило равнодушной съехавшуюся за покупками публику. Посовещались, вызвали скорую. Завывание сирен, усиленное гулкой акустикой, вырвало Дину из безмятежной послеобеденной дремы. Пробившись сквозь кольцо зевак, скорая въехала на бордюр, двери разлетелись в стороны и выпрыгнули парамедики, увлекая за собой тележку-каталку.

Дина вскочила. Она была в бешенстве. Цветы живописно разлетелись. Это взвинтило ее еще больше. Дина схватила каталку и наглядно продемонстрировала собравшимся, что умирать она отнюдь не собирается. Первыми под раздачу попали медики. Затем она напустилась на сердобольного паренька, пытавшегося поддержать ее за локоть, топча при этом ни в чем не повинные бегонии. А тележка-каталка, скрипя колесами, врезалась в бесцеремонно потревожившую Динин сон толпу.

Как бы то ни было… Признаюсь, "как бы то ни было" – крайне удобное вводное словосочетание для любителей постоянно отвлекаться на побочные истории. Рекомендую. В смысле, рекомендую словосочетание, отвлекаться или нет – вы уж

решайте сами. Так вот, как бы то ни было, мы говорили о помощи пожилым людям. И да, действительно, мне порой случается помогать Дине в ее нелегком противостоянии окружающей среде. Ну, там… заказать электронные сигареты в интернете, подбросить в секс-шоп или нечто подобное. Единственное, от чего я наотрез отказался – это доставать для нее наркотики.

О Дине и ее нежданно пробудившемся на старости лет желании отведать легких наркотиков наверняка можно сочинить парочку сочных абзацев, но не выдумывать же то, от чего я отказался, да еще и “наотрез”. Зато, уверен, вас заинтересовал секс-шоп. Именно к рассказу о нем мы немедленно и приступим.

Однажды Дина потребовала свозить ее в секс-шоп, чтобы купить “сюрприз” для ее нового любовника.

– Могу ли я получить консультацию? – светским тоном осведомилась она с порога, окидывая оценивающим взглядом ряды выстроенных “по росту” фаллоимитаторов.
– С превеликим удовольствием, – проворковало из-за прилавка долговязое создание, смахивающее на трансвестита.

Кокетливо оправив броский шарф, Создание принялось водить Дину вдоль полок, уставленных снарядами для коитальной акробатики.

– Ой, а что это? – Дина с неподдельным любопытством уставилась на анальную пробку устрашающих размеров.
– Видите ли, – Создание изобразило некое замысловатое хореографическое движение, – мужчины порой…
– И это тоже засовывают? – Дина схватила полуметровый черный силиконовый член с набухшими венами и внушительными яйцами.
– Внедряют, – усмехнулся я.

Тут ее взгляд зацепился за подвешенную к потолку кожаную упряжь в металлических заклепках, и Дина устремилась туда. Услужливый продавец, пританцовывая, увивался за ней.

– Почему без вибрации?! – вскоре послышалось из другого угла. – Хочу с вибрацией!

С неубывающим энтузиазмом Дина “порхала” по магазину часа два. Это довольно быстро мне наскучило, и я устроился в сторонке с книжкой Аствацатурова, вдохновившего меня – большого любителя всяких “как бы то ни было” – избрать

для этого романа именно такую форму повествования, сшитого из рваных фрагментов.

Вот мы и нашли крайнего. Если что – все претензии к Андрею Аствацатурову.

После таких откровений нелегко вернуться в секс-шоп; тем не менее, мы это сделаем. Время от времени я вскидывал голову – взглянуть, как там моя подопечная, но высокие стенды с товарами скрывали ее, зато там и сям мелькала шевелюра долговязого продавца, которого Дина таскала за собой, будто на веревочке, за тот самый цветастый шарф.

* * *

О секс-шопе и о приключениях в торговом центре я, конечно, в опроснике упоминать не стал. Написал чинно и добропорядочно, и не постеснялся даже свою бабушку – военврача и ветерана Второй мировой – приплести. Потом перечитал, внутренне содрогаясь от угодливо-холуйского тона. Вышло омерзительно. То есть – что надо.

Разделавшись с благотворительностью, я застопорился. Первоначальный запал иссяк, и вновь нахлынуло брезгливое отвращение. Лидерство бесило больше всего. Примеры лидерства в моей жизни были либо сомнительного (в глазах фонда Азриэли) свойства – из серии похождений со школьными товарищами, как воровство с Артемом и мордобои с Вадиком, – либо неказистые и будничные. Бытовой героизм всяких ударников капиталистического труда меня никогда особо не вдохновлял, да и для его описания пришлось бы вдаваться в массу лишних технических деталей.

А чувствовалось, что тут необходимо нечто грандиозное, но при том ясное и однозначное. Чтобы он – некий гипотетический герой – рванул на себе рубаху, схватил связку гранат… не, про гранаты я уже писал,.. ну, не связку, а, скажем,.. чтобы грянул гимн, он воздел к небу флаг или даже лучше – стяг, и ринулся на баррикаду. Или как на субботнике – чтобы профиль соколом, а грудь колесом, чтобы взмахнул ручищей, чтобы гаркнул “Эх, дубинушка!”, и соратники навалились, ухнули, подняли и пошли. Понеслись вприпрыжку, поскакали, прихрюкивая, и где-то у горизонта взмыли к радужному будущему тоталитарной диктатуры показного счастья!

Потребность на полном серьезе вымучивать из себя нечто подобное была унизительна. Я перешел к ключевым событиям, и тут же зародилась мстительная мысль описать в подробностях ярчайшее переживание моего первого года

пребывания в Израиле – обрезание. Дескать, жил себе и жил, как родился. Все, вроде, было нормально. Потом приехал в Израиль, и мне отчекрыжили. Прелестное воспоминание ранней молодости, не правда ли? Ну вы помните, как я щеголял в юбке, и чем это кончилось.

Они еще пожалеют, что задали мне такие вопросы, – думал я. И вместо обрезания накатал душещипательную историю об антисемитизме в советской школе номер 75 и русофобии в израильской школе Зив. Не в таких, конечно, как вам, подробностях, – лишь о том, каково быть евреем среди русских, а потом стать русским среди евреев.

Это немного привело меня в чувство. Я даже ощутил легкий укол совести, представляя, как растрогаются эти филантропы. Они же просто не смогут не дать мне эту сраную стипендию. Или я перегибаю? Может, надо про суровое детство в России и чудесное избавление в Израиле. Мол, приехал я в далекую прекрасную страну, где куда ни плюнь, торчит торговый центр Азриэли, и наконец обрел… или нет, и наконец почувствовал, как рыба в… как рыба… в… в… унитазе. Мда… А из событий взрослой жизни – поведать им, как я, не отслужив и половины срока, патриотичненько откосил от армии. И будет в самый раз.

Тут мне вспомнились былые безмятежные студенческие деньки, насыщенные разнообразными формирующими событиями, которые тоже вряд ли смогли бы по достоинству оценить бюрократы из фонда дядюшки Азриэли. Скажем, как я взламывал кабинет профессора… Впрочем, давайте по порядку. Близился экзамен по чему-то такому зануднейшему и скучнейшему… Ах, да! …был конец года, конец долгой изнурительной сессии, и я уже был готов на все, лишь бы не вникать в этот предмет. И вместо того, чтобы учиться, несколько дней выискивал способ как-то выкрутиться. Накануне экзамена я таки исхитрился и спер у завхоза мастер-ключ, отпирающий все кабинеты на факультете, сгонял на такси в слесарный магазин, сделал копию и незаметно вернул оригинал на место.

По ночам, опять же вместо подготовки к экзамену, я следил за охранниками, чтобы досконально изучить распорядок обходов здания. И вот в четыре утра я проник в святая святых – кабинет профессора. Почти час я обшаривал там все от пола до потолка, но так и не нашел вопросника, хотя рассчитывал обнаружить целую стопку заготовленную на завтра.

Вернувшись под утро, злой, уставший и разочарованный, я капитально напился. В таком прекрасном виде – весь расхристанный и раскачиваемый приливами радостного алкогольного дурмана, я каким-то чудом оказался в аудитории, где

проходил экзамен. На большинстве лекций я мгновенно засыпал, и потому непонятность вопросов меня не смутила, к тому же в голову лезли куда более интересные и красочные мысли. Я что-то быстренько навалял и сдал до конца отведенного времени – давно пора было еще хлебнуть, да и курить хотелось нестерпимо.

В итоге я получил на удивление приличную оценку. Очевидно, этот предмет я был способен постичь исключительно в измененном состоянии сознания. Но это все глупое баловство. А вот тогдашняя легенда нашего потока по прозвищу “Миша без крыши” сумел воспользоваться золотым ключиком с куда большим умом и находчивостью. В обеденный перерыв Миша, не таясь, будто так и надо, отпер секретариат кафедры и преспокойно отыскал там список паролей от аккаунтов всех профессоров и ассистентов. Дальше Миша приходил на экзамены лишь для отчетности, сдавал абы что и потом напрямую исправлял оценки в базе данных.

Действительно, к чему заморачиваться, не спать ночами, рисковать быть застигнутым в профессорском кабинете на карачках с фонариком в зубах, если можно обставить все с комфортом? Правда, вскоре Миша стал пренебрегать осторожностью и попался на том, что правил отметки в рабочее время, и однажды в тот же самый момент оценки вносил какой-то глазастый ассистент. Ассистент был крайне удивлен, заметив меняющиеся сами собой цифры. Нашего героя вычислили, выловили и принудили предстать перед дисциплинарной комиссией, но Миша каким-то образом все-таки отвертелся. Возможно, помогли безупречные оценки в прошлом. Однако доступов и паролей Миша, естественно, лишился, и ему пришлось вернуться к старой доброй схеме, обеспечивавшей образцовую успеваемость в прежние годы.

Комбинация была такова: Миша припирался на экзамен в зимней куртке, причем в любую пору года и погоду. По этому поводу у него даже состоялось разбирательство с деканом. Кому-то показалось подозрительным, что студент ходит на экзамены в теплой куртке в сорокаградусную жару. Но Миша заявил, что он всегда так одевается. Это было невозможно опровергнуть, так как ничего, кроме экзаменов, он на факультете не посещал. Миша гулял на вечеринках, пропадал на тусовках и кочевал по общаге, где беспардонно объедал своих приятелей, а на лекции его почему-то никогда не тянуло так, как к холодильнику или к теплу человеческого общения.

Так вот, Миша без крыши наплел нашему декану, что так одевается вследствие детской травмы, и расписал, как трагически замерзал в каких-то сибирских снегах, или во льдах, или на льдине… хотя Миша из благополучной московской семьи и

вряд ли бывал хоть где-то значительно севернее или восточнее пределов московской области. Но о Сибири даже в Израиле так наслышаны, что после этого слова можно городить любые небылицы. Как бы то ни было, с тех пор, согласно этой душераздирающей истории, мальчик Миша, мучимый хроническим ознобом, всюду разгуливал в своей заветной курточке.

Когда раздавали вопросник, Миша брал два экземпляра, один из которых засовывал в рукав куртки и, отпросившись в туалет, оставлял в условленной кабинке во втулке от туалетной бумаги. Затем в туалет прокрадывался представитель группы поддержки. Группа состояла из нескольких лучших студентов, которые делили между собой вопросы, быстро решали и клали ответы в ту же втулку. Миша снова отпрашивался, прятал решения в рукав, возвращался и наскоро переписывал все своим почерком.

Это была филигранная операция, требующая четкого и слаженного осуществления. Каждая минута была на счету, так как наш институт чинил всяческие козни на Мишином пути к академическому успеху. Во-первых, в коридорах разгуливают смотрители, и необходимо действовать осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Во-вторых, первый и последний час экзамена выходить нельзя. Кстати, до знакомства с Мишей стремление института регламентировать наше мочеиспускание казалось мне крайне странным. И кроме того, экзамен ограничен на три часа, и надо все успеть: Мише – отпроситься и спрятать; тем – забрать, решить и вовремя вернуть; и опять же Мише – забрать, незаметно достать при всех в аудитории, незаметно переписать и снова спрятать листочки с ответами, чтобы затем не пойманным улизнуть с места преступления.

Миша без крыши был выдающейся личностью, титаном… альбатросом такого размаха крыльев, что он, несомненно, достоин отдельного литературного произведения. Не знаю, отважусь ли я на такой подвиг в дальнейшем; пока браться за широкомасштабное полотно о Мише без крыши я, увы, не решаюсь…

Но раз уж мы затронули Мишину заветную куртку, – еще ностальгическая история о куртке, о плотской любви и о безудержной пылкой страсти. В незапамятные стародавние времена, где-то там в девяностых, в дни нашего непростого юношества, сеть интернета еще не опутала весь мир, и мы были лишены доступа к бесплатной порнографии. У нас не было смартфонов, да и персональные компьютеры еще считались роскошью, и предаваться утехам онанизма было не так сподручно.

Миша без крыши, в порыве неистового и необоримого вожделения к самому себе и к женщинам в целом, решил… нет, “решил” – это слишком будничное слово… Миша возжелал подрочить на порно-сайт. Но было негде – своего компьютера у Миши не имелось. Однако истинная любовь не ведает преград! И в темные предутренние часы бурная стихия страсти занесла нашего героя в круглосуточную компьютерную лабораторию при общежитии.

Оценив обстановку опытным взглядом бывалого ловеласа, Миша обнаружил камеру, сорвал с себя… нет, еще не то что вы думаете, Миша сорвал с себя заветную куртку, взгромоздился на стол, и, балансируя на одной ноге, потянулся к камере наблюдения, чтобы целомудренно завесить ее курточкой. Природная пылкость, близость желанной цели и алкогольные пары одурманивали рассудок, и Мишу изрядно штормило. Он не удержался, теряя равновесие, схватился за камеру и обрушился вниз вместе с ней и со своей курткой, выдирая обрывки проводов с клочьями штукатурки.

Неизвестно, охладило ли это Мишину страсть, и чем закончилась эта история в эротическом плане, но назавтра по всему институту было расклеено объявление о розыске вандала, разгромившего компьютерную лабораторию. На объявлении красовался один из последних кадров, запечатлевший нашего героя, с охотничьим азартом подкрадывающегося к устройству наблюдения.

Некоторое время Миша днем и ночью не снимал солнечные очки, обходил лабораторию десятой стороной и всячески шифровался. Однако, несмотря на запоздалые предосторожности, был опознан и вызван на дисциплинарную комиссию. Комиссия не разделила Мишиной возвышенной любви к прекрасному, но все же ограничилась выговором и условным наказанием.

Наказание было достаточно серьезным, чтобы заставить Мишу вести себя более осмотрительно. Хватило этой осмотрительности примерно на неделю. Через неделю, обожравшись на рейве амфетаминами и пребывая в радужно-пузырящемся расположении духа, Миша ранним субботним утром завалился в бассейн, разделся, разогнался и с разбегу сиганул в джакузи, где в то время чинно грели косточки бабульки в купальных шапочках.

Неведомо, какие именно миражи и иллюзорные видения сподвигли нашего героя на этот поступок, вела ли его неодолимая тяга к любви, грезились ли ему в бурлящих водах дивные русалки или нечто совсем иное, но на бабулек Миша без крыши произвел впечатление неизгладимое. Даже после того, как Мишу увез начальник институтской охраны, те еще долго не могли угомониться. А Миша…

если вы успели прикипеть к этому герою, не переживайте: и в данном случае Мише без крыши каким-то образом удалось выйти сухим из воды.

* * *

Скользнув взглядом по оставшимся бланкам, я спохватился и решил, что пора прекращать витать в облаках, оставить все как есть и двигаться дальше. Решить-то решил, но никуда не сдвинулся, а тут же забуксовал в “личностном и карьерном росте”. Что мне было им написать? Про Мишу без крыши, перековавшегося с годами в образцового семьянина и менеджера среднего звена? Или что меня самого гораздо больше интересует создание этого романа, чем карьерное развитие в целом, и их стипендия в частности?

Несколько дней я маялся с подбором корректного ответа на вопрос о грядущем росте моей персоны и попутно составлял отчет о предварительных результатах по теме моей диссертации. Шла к концу третья неделя почти круглосуточной возни с этой чертовой стипендией. Веки распухли от усталости и недосыпа. Углы букв царапали глаза. А профессор Басад ежедневно рвал меня на части, требуя вернуться к работе в лаборатории. Когда я осторожно напоминал, что он сам все это затеял, Шмуэль лишь досадливо отмахивался.

В итоге, как вызванный к доске ученик, который не приготовил уроки, но надеется выпутаться складной болтовней, я впаял им свою идею об использовании искусственного интеллекта в диагностике. Взял и превратил в связный текст ту самую презентацию, на которой уснул Шмуэль после Нового года. Не пропадать же добру. Плюс это казалось интереснее, чем писать, что собираюсь закончить аспирантуру, потом – постдокторат для повышения квалификации, а потом обивать пороги и выслуживаться в надежде на позицию в каком-нибудь ВУЗе, как поступают добропорядочные научные работники.

И вот настал черед прогнозирования будущего Израиля – нашей величайшей державы всех времен и народов. Тут я впал в крайнюю степень злоупотребления патетикой и высказался на избитейшую, но оттого не менее актуальную тему долгожданного мира на Ближнем Востоке. Желчно изгаляясь, процитировал притянутого за уши Роберта Фроста[37] и припечатал слащаво-вычурной фразой:

[37] Роберт Фрост – один из крупнейших поэтов в истории США.

And if we find a way to coexist with our neighbors, and bring peace to the Promised Land of milk and honey, – they say, “the sky's the limit”, but I know, we will go beyond![38]

Молочные реки и кисельные берега были явно инспирированы общением с профессором Басадом. На это он удовлетворенно хмыкнул, а на остальное съязвил, что я как королева красоты на номинации, которая непременно распространяется о мире во всем мире. Это замечание напомнило мне, что когда-то в студенческие годы мы с моим школьным товарищем Павликом – мастером спорта по шахматам – написали Томи Лапиду – журналисту и писателю, ставшему министром юстиции, – письмо с программой решения разом обеих насущнейших проблем нашей страны: внешней безопасности и отделения религии от государства. Томи казался нам единственным мало-мальски вменяемым политиком, зато, как вы сейчас убедитесь, абсолютно невменяемы были мы с Павлом.

Не помню, как зародился обуревавший наши юные умы стратегический план, но сводился он к тому, чтобы перенести страну Израиль на какую-нибудь более приветливую территорию. Например, купив или арендовав землю в незаселенной части Канады или Австралии. Куда дешевле, комфортней и гуманней, чем уже восьмое десятилетие все глубже увязать в военном конфликте с палестинцами, Сирией, Ираном, Ираком и еще неясно с кем. А ортодоксально-религиозные слои общества, которые не слишком жалуют светских, естественно, с нами не поедут, а предпочтут остаться.

Наш magnum opus, специально для вас, мои преданные читатели, я непременно переведу на русский и тоже приложу к роману, если он сохранился у Павла. Мне, увы, не удалось обнаружить его копию в своих закромах, и судьба нашего письма пока неизвестна. Неоспоримо одно – что бы ни сталось с нашим воззванием, Израиль так и не сдвинулся с места, хоть и ощутимо скукожился[39].

Близился крайний срок подачи документов на стипендию, а душевные силы уже давно иссякли. Оставшуюся брешь в монолитной стене лицемерия – “демонстрацию лидерства” – я заткнул сочинением по мотивам истории пришедшего мне на выручку Дорона. В духе мыльной оперы для молодых домохозяек. Про розовощеких малышей в детском саду, про героического отца,

[38] И если мы найдем способ сосуществовать с соседями и принесем мир на Землю Обетованную, текущую медом и молоком, – говорят, “предел нам лишь небеса”, но небом мы не ограничимся, мы пойдем дальше! (англ.)
[39] В соответствии с соглашением Осло (1993) сектор Газа и округ Иудея и Самария перешли под управление Палестинской национальной администрации.

который… Ай, короче, перепрелые подгузники в сахарном сиропе. Что, собственно, и требовалось.

В общем, местами я таки отвел душу, хоть и угробил целых три недели, включая выходные. За это время я успел не раз проанализировать все связанное со стипендией Азриэли и пришел к заключению, для которого абсолютно не обязательно быть семи пядей во лбу, а вполне достаточно элементарной арифметики. Если взять все ВУЗы страны, умножить на число их факультетов и кафедр, а полученный результат – на количество рабочих часов, пусть даже не в трех, а в двух неделях, мы получим время, потраченное всеми кандидатами на заполнение бланков. Затем, если перевести эти человекочасы в деньги, выйдет сумма, значительно превышающая общий фонд стипендии Азриэли.

И это еще не учитывая хлопот деканата и профессоров, выдвигающих своих протеже, – то есть опять же средств, которые не возникают ниоткуда. Что же получается? Получается, что концерн Азриэли приспособил ресурсы, выделенные на нужды науки, для собственной выгоды. Восхитительная возможность пропиариться среди образованных слоев общества, придать себе лоск прогрессивных меценатов науки и растроганно умилиться высоконравственности своей социальной роли.

Но так как сумма, которой удостоится парочка-другая счастливчиков, смехотворна на фоне общего количества усилий, затраченного лучшими аспирантами на ее выклянчивание, концерн Азриэли напоминает эдакого барина, черпающего из тугой мошны пригоршни медяков и швыряющего их толкущимся у крыльца холопам. И самодовольно забавляющегося, наблюдая, как те мутузят друг друга в грязи у его сапог. Кстати, наиболее проворные – те, кто урвут подачку, заранее обязуются ежегодно уделять две недели некой благотворительной деятельности по усмотрению попечительского фонда Азриэли. Как предположил профессор Басад, рыть котлован под фундамент нового торгового центра.

Если бы они действительно затевали все это ради науки, то просто поделили бы бюджет между несколькими учебными заведениями. Тихо и без помпы. А не пичкали бы аспирантов ультрасовременным ценностным комбикормом со штампом “made in USA”, которым и без них успешно оболванивают весь мир масс-медиа. И уж точно не заставляли бы аспирантов воспевать этот ценностный комбикорм на разные лады, брызжа и захлебываясь собственной слюной.

Первые Любови

Вот, кстати, о любви. А точнее, о первой любви. Надо же толком высказаться и на эту тему. Вам-то легко – сидите, читаете, а мне потом с Редактором препираться. Роман это или не роман.

Итак, в моей жизни было всего три вещи, о которых я жалею. Ну, или раскаиваюсь… Хотя это тоже не вполне точно. Попробую так: которые оставили в моей душе след, и за которые мне стыдно…

Неказисто как-то – дважды “которые”. Помнится, Обломова тоже сковывали повторы союзов, и он так и не закончил письмо домовому хозяину. И потом: “след в душе” – это как? Я пытаюсь представить душу со следами. Получается какой-то сюр. Что теперь, влажную уборку там делать? Или коврик постелить, чтобы не натаптывали почем зря?

Так, где еще в подобном контексте могут запечатлеться следы? Скажем,.. в подкорке. Ну вот, приехали. Теперь придется уточнять уместность употребления слова “подкорка”, я все-таки не врач. Если печатать что попало и затем, подобно Обломову, бесконечно это муссировать, то, подобно Обломову, ничего не напишешь.

Позволю себе последний виток, и пора браться за ум. “Было бы чем и за что” – я решительно отфутболиваю эту мысль, ввожу слово “подкорка” в поисковик, и попадаю на сайт тель-авивской больницы Ассута. Навстречу выплывает чатбот с женской улыбчивой аватаркой. Услужливо интересуется, чем может помочь. Я забываю про подкорку и пишу ей в окошко: “В жизни слишком мало подлинного счастья. Что делать?” Подумав, уточняю: “Как быть?”

Молчит. Не отвечает. То ли не понимает, то ли наоборот – все прекрасно знает, но не видит смысла расстраивать. Фиг разберешь. Женщина, говорят, загадка. Тем более если она – искусственный интеллект.

Так, отступление затянулось. “…Стыдно, но даже будь возможность, не стал бы ничего переигрывать”. Остановлюсь на такой формулировке. Ведь можно просто и ясно, так нет же, понесло, завертело… Подобным образом я думаю. Петляю. Поскальзываюсь. И мысли плутают непредсказуемыми траекториями.

Итак, с процессом мышления и его изложением – разобрались. Вернемся к стыду. Две из трех вещей, за которые мне стыдно, связаны с зубами. Любопытно, что бы по этому поводу сказала мой психоаналитик Рут? Как бы то ни было, – то самое, в коем, как вы, надеюсь, помните, стоит винить исключительно Андрея Аствацатурова, на которого я намерен и дальше вешать всех собак… Так вот, как бы то ни было, я собирался говорить о любви. О первых – неловких, но трогательных сердечных влечениях.

Мою первую любовь звали Маша. Мы учились вместе с первого класса. У нее была круглая родинка на щеке и большие белые банты в волосах. Тогда девочки носили банты – обязательный аксессуар школьной формы – но их банты меня абсолютно не волновали, а Машины – так будоражили, что и сейчас перехватывает дыхание. Хотя саму Машу я помню уже довольно смутно, а то, как и когда она начала мне нравиться, – не помню вообще.

Так или иначе, к четвертому классу это влечение распалилось до такой степени, что я переборол в себе все, что только можно, и признался в своих чувствах. Написал любовное письмо и зачитал вслух. Почему-то мерещится, что я проделал это, преклонив перед ней колено, но, очевидно, это плод романтических фантазий, преобразивших детские воспоминания. Скорее всего, я, потупившись и робея, стоял в проходе между рядами парт, непослушными пальцами мусолил листок и сбивчиво мямлил те строки, которые должны были тронуть и воспламенить ее сердце. Мои самые сокровенные… Самые-самые…

Измятое любовное послание, которое она насмешливо приняла после этой унизительной процедуры, не осталось без внимания. Наоборот, мой эпистолярный дебют получил широкую огласку. Маша неоднократно декламировала его звонким хорошо артикулированным дискантом своим подружкам, девочкам из параллельных классов, а потом и всем желающим.

Познав бездны стыда, обиды и отчаяния, я долго залечивал ожоги ранних нежных чувств. Потом в отместку навечно вычеркнул Машу из перечня своих любовей, а к девчонкам стал относиться еще недоверчивее и впредь старался держать дистанцию.

Долго ли, коротко ли, миновали мрачные месяцы, хмурые годы, и со мной вновь случилось романтическое помутнение рассудка… Стало быть, отныне первую любовь звали Ксения, но она кокетливо представлялась Ксю. Ксю была стройная, с журавлиной шеей, маленькими ладными грудками и несколько эльфийскими чертами. Даже ушки у нее были по-эльфийски заостренные.

Мы познакомились первого апреля. Да-да, вполне можно было с ходу заподозрить неладное. Но мне было четырнадцать, и, ослепленный яркими, пугающими и противоречивыми чувствами, я ничего не заподозрил. И мы стали встречаться.

Я млел, тлел, вожделел… и далее по списку, уверен, вам прекрасно знаком сумбур и смятение подростковой влюбленности. Так пролетело три месяца, близилось знаменательное первое июля – мой день рождения. В тот год из-за выходных мы праздновали накануне, а назавтра – в сам день рождения – с утра начинают названивать родители моего тогдашнего лучшего друга. Не знаю ли я, где Саша? – спрашивают они. И так весь день: “Где наш Саша? Где же Саша?” К вечеру что-то в моей голове замкнулось, я позвонил своей подруге и сказал: “Привет, Ксю, позови Саню”.

На этом отношения закончились. Я был разбит и раздавлен. Единственным слабым утешением стал тот факт, что вскоре Ксю бросила Сашу ради его приятеля – рослого, крепкого, улыбчивого парня, у которого, в отличие от Саши, не было никакого нутра, одна смазливая наружность.

Долгое время мне было стыдно, что я предпочел утешиться чужой неудачей, вместо того чтобы самому с ходу врезать Саше по зубам. Я сдержанно принял оправдания и узнал историю их сближения, начавшуюся с выбора подарка на мой треклятый день рождения. Не откажу себе в язвительном замечании: подарок и вправду вышел незабываемый. Но, несмотря на это, мы с Сашей остались друзьями. А я вновь законсервировал в себе боль, обиду и разочарование, и довольно быстро осознал отвратную фальшь своей напускной невозмутимости. Саша отличный парень и по большому счету хороший товарищ. Но там и тогда дать ему в зубы было жизненно необходимо именно потому, что он был лучшим другом. Поступить просто и по-мужски, а не демонстрировать лицемерное самообладание.

В этих безрадостных размышлениях прошел год, настало первое апреля и с ним новое знакомство. К чему учиться на собственных ошибках? Куда как проще раз за разом наступать на те же грабли. Май сменил апрель, потом нагрянул июнь и за ним неминуемый день рождения. После празднования я провожаю новую пассию на автобусную остановку, и по пути она сообщает, что, по ее мнению, нам лучше расстаться. Еще раз поздравляет и желает всего наилучшего.

Тут стоило бы разместить абзац из большого количества многоточий и восклицательных знаков, но не будем лишний раз травмировать Господина Редактора. Скажу лишь, что с тех пор первоапрельские шутки меня не радуют, а с

цифрой “1”, вопреки симпатии к нечетным числам, у меня сложные взаимоотношения.

На этом трагикомедия не то что заканчивается, но видоизменяется. Не отчаивайтесь, вам не придется продираться через очередную историю с сюжетом “от первого апреля до первого июля”.

Вскоре мне посчастливилось познакомиться с прекрасной девушкой Олей. Мы были вместе два с половиной года. Нашему сближению предшествовал небольшой эпизод, даже сейчас кажущийся мне странным. Мы с отцом были в центре Иерусалима, где и по сей день живут мои родители. Папа вел машину, а я рассеянно глазел по сторонам. Тут в поле моего зрения появилась Оля, с которой в ту пору я был знаком лишь мельком и встречал пару раз на мероприятиях для детей репатриантов. Оля шла по улице, а мы проезжали мимо. Я проследил за ней взглядом, пока она не скрылась из виду.

– Твоя подруга? – насмешливо бросил отец, краем глаза наблюдавший, как его сын чуть не вывихивает шейные позвонки.
– Нет, – опомнился я. И добавил: – Но будет.

Как и откуда я набрался такой самонадеянности, при том, что после очередного фиаско уверился в неизбежности провала всех грядущих попыток сближения с женщинами… Но это “будет” прозвучало с такой твердостью и достоинством, что папа взглянул на меня с уважением. Возможно, впервые в жизни.

Как бы то ни было, кроме прочих замечательных качеств, Оля была пылкой, страстной и изобретательной, но вместе с тем чрезвычайно щепетильной. С одной стороны, мы уже два года проделывали почти все, на что хватало нашей фантазии, и что можно было проделать в салоне машины моих родителей, где протекала наша интимная жизнь. А с другой – к соитию в прямом смысле Оля была еще “не готова”. Я относился к этому с пониманием и, хотя номинальная девственность меня, конечно, смущала, был заоблачно счастлив и вполне удовлетворен.

И вот настал долгожданный час. Она объявила, что “готова”. И дальше призналась, что ее родители давно подали прошение, уже год назад получили разрешение, а теперь оформляют последние документы на эмиграцию. И через несколько месяцев все их семейство дружно переезжает в Америку на ПМЖ. Потом она еще долго говорила, клялась, плакала и просила прощения, что не рассказала раньше, но я уже ничего не слышал и не понимал.

После этого откровения все стало как-то не так. Мы начали отдаляться еще до ее отъезда. Она пару раз писала уже оттуда, но у меня внутри что-то безвозвратно сломалось. Я проклял все романтические бредни, нарастил броню поверх так и не заживших ран и на долгие годы записался в отчаянные Дон Жуаны.

Тогда я бравировал циничными фразочками в стиле: “Любовь – это грандиозный обман, придуманный с целью побудить женщин покупать кружевные чулки, бижутерию и иные нелепые аксессуары”. Нагулявшись, я завязал с донжуанством и пытался вести более содержательные отношения. Однако с тех пор я, кажется, стал понимать в этом мороке под названием “любовь” еще меньше, чем тогда.

У меня уже нет броских и исчерпывающих формулировок. Разве что разрозненные наблюдения, ностальгические воспоминания и шаткие нескладные соображения. К примеру, принято считать любовь ультимативным доводом для оправдания самых сумасбродных поступков. Любовью-де можно оправдать что угодно. Но я так не думаю.

Или другой пример: я люблю стрекоз. Но сейчас я их люблю как-то… абстрактно и “целомудренно”, а в детстве эта любовь выражалась в том, что под предлогом коллекционирования я ловил их сачком и прикалывал булавками к пенопластовому планшету.

Я любил улиток. Точнее, я их жалел. Хотя, как мне кажется, это лишь одна из многих масок любви. Встречая улиток на тротуаре, я переносил их на траву или в кусты – подальше от пешеходов. Но на самом деле, я совсем не был уверен, что им от этого становится лучше. Да и сейчас не уверен.

Зато теперь я уверен, что имеется гораздо больше веских причин жалеть людей, нежели улиток. Но с людьми все значительно сложнее – не тащить же их в кусты. Во-первых, многие не так поймут, а во-вторых, еще менее вероятно, что от этого кому-либо станет легче.

Как человек, склонный к научному подходу, я даже попытался взглянуть на любовь в исторической ретроспективе. И вот что выяснилось: слово “любовь” и само понятие существовали с древних времен, но значение, которое в них вкладывалось, было совсем иное. Люди жили парами не из каких-то там возвышенных чувств, а ради самосохранения. Их просто притирало друг к другу бытом. Женщина, ни с того ни с сего вздумавшая разойтись с супругом, с большой вероятностью умирала. Не в некоем фигуральном смысле – от тоски и утраты, а от голода или от насилия. Да и мужчина-землепашец редко был способен

прокормиться в одиночку. В такой ситуации не до любви в нашем понимании, их любовь была гораздо прагматичней и приземленней.

Помимо прочего, большинство крупных религий ассоциировали мирскую любовь с греховностью. Христианские священники спорили о том, есть ли у женщин душа, а чувства – все человеческие чувства – считались слабостью и помехой. И лишь в XVII–XVIII веке, когда образованные люди стали отделываться от религиозных догм, появилась на свет наша романтическая любовь. А в народе новый культ укоренился с расцветом массовой культуры – благодаря радио с песнями о любви, благодаря дамским романам и сентиментальным кинофильмам.

Вот и выходит, что испокон веков люди просто жили и любили друг друга как умели – без определений. А потом писатели, поэты и драматурги воспели заоблачный ослепительный идеал, и с тех пор мы все мучаемся. Ведь, положа руку на сердце, ни у кого так красиво, как в книжках, любить не получается.

И напоследок этот фрагмент был бы незавершенным без Алисы Селезневой – платонической любви пионеров и октябрят периода Перестройки.

В безвозвратно ушедшую эпоху советского детства мы все были влюблены в Алису – Гостью из будущего. Хиреющая страна рабочих и крестьян, или, точнее, диктатуры номенклатуры каким-то волшебным образом сотворила и подарила нам фантастический подростковый фильм, героиню которого можно было чистосердечно любить без всяких оговорок.

Чудесная Алиса с удивительными глазами и неповторимой улыбкой была нашей сверстницей, прилетевшей из прекрасного и далекого 2084 года. Этот светлый образ запечатлелся в памяти целого поколения – поколения влюбленных в Алису из будущего. Того самого будущего, где все стали чище и добрее, и в котором уже наверняка все хорошо.

С тех пор минула треть срока, оставшегося до того времени, из которого по сценарию прилетела Гостья из будущего. Прекрасное далёко все так же далеко, да и солнечные сады детства, кажущиеся таковыми лишь в ностальгической ретроспективе, давно остались позади. И вряд ли многие из поколения влюбленных в Алису сберегли в себе умение любить так же упоенно и безоговорочно, как мы все когда-то любили невыносимо очаровательную и в то же время такую простую, родную и милую Алису.

Единственное, что осталось неизменным – это миф о чистой любви. Миф сохраняется незапятнанным, несмотря на то что мы конопатим любовью какие попало щели и прорехи бытия, и оправдываем ею не только эксцентричные выходки, но и все несовершенства мироздания. Любовь, наличие любви как бы искупает и страдание, и жизнь, и смерть… примиряет с ними, оправдывает. Любовь призвана уравновешивать весы. Создавать иллюзию, что не все напрасно. Но… любовь – настоящая, мирская, а не воображаемая – ничего не уравновешивает, не оправдывает и не искупает. Она – лишь тень, неуклюжая и трогательная попытка воплощения сентиментального литературного образа, некогда возведенного на пьедестал Шекспиром, Гете, Пушкиным и иже с ними.

Микро- и нано-паники

– А в чем проблема?! – брякает Ма́ксим, подчеркнуто игнорируя мое присутствие и в который раз обращаясь исключительно к Шмуэлю.

Ма́ксим – это тот, который инженер лаборатории и колхозник из Нетивота. Уже третий месяц он бойкотирует меня из-за конфликта на тему Дам. Точнее, того, что можно или нельзя делать и говорить в их присутствии. Его негодованию нисколько не мешает тот факт, что в нашем чисто мужском коллективе никаких Дам как не было, так и нет. Колхозный рыцарь Амбера ведь борется за правду, а борцам за правду не до каких-то там частных мелочей окружающей действительности.

Враждебные вихри, веющие в сознании колхозника, нагнетают обстановку в нашей маленькой группе, и я неоднократно пробовал с ним помириться. Но он всякий раз вздымал знамя священной борьбы и вступал в роковой бой со злобными силами в моем лице. Особенно ему нравилось разносить в клочки мой первый роман, самозабвенно талдыча, что главный герой, который в его воображении уже полностью слился со мной самим, груб, спесив и в целом крайне несимпатичен. Что тут скажешь? Я пытался вернуть общение в конструктивное русло, а Ма́ксим сокрушался, что, прочитав мою книгу, разослал ее всем знакомым и теперь терзается запоздалыми раскаяниями.

– Значит так, по делу, – завершив костерить мой моральный облик, заявил он на последней беседе. – Сперва ты устроил какую-то истерику. Потом еще чего-то, не помню, че ты там молол… Но уж коли ты хочешь разрядить обстановку, я рад! Я приветствую! Только давай так: говорящий берет в руки по гантеле и становится на одну ногу, – это у колхозника такой первобытный способ нормировать время, отведенное каждому на высказывание. – Сейчас говорю я. Ты книжку свою читал? Ты вообще помнишь, что там написано?

Выходя на новый круг, Ма́ксим упивался своим надрывом. В его голосе звучала искренняя обида, будто я нарочно сочинил все так, чтобы при первом прочтении ему понравилось, и основной целью написания романа было втереться в доверие простодушному колхознику. Но теперь-то он меня раскусил, теперь-то он распознал мою истинную сущность. И ему стыдно. Стыдно, горько и больно, что он приложил руку к распространению этой… этой… тут он вздыхал и скорбно устремлял взгляд куда-то вдаль.

Не скажу, что это совсем не задевало. Задевало. Даже очень. Но как на такое реагировать, не оправдываясь, я не знал. Не утешать же его… Оставалось лишь молчаливо посочувствовать. Налюбовавшись далью, Ма́ксим вновь заводил свою шарманку, а я уже жалел об отсутствии гантелей и поражался тому, как затейливо, оказывается, можно выворачивать реальность наизнанку.

Из мирной инициативы ничего хорошего пока не выходило. Холодная война ужесточилась.

– Дык, а че такого? – напирает Ма́ксим, продолжая делать вид, что в кабинете находится только он и профессор Басад. – Сейчас я раскурочу микроволновку, делов-то… – в доказательство он энергично взмахивает зажатой в кулаке отверткой. Зачем он притащил ее на встречу – загадка. – Разберу, вытащу этот, как его… СВЧ-излучатель, и будем жарить.

Опасения на тему излучения зрели во мне уже давно. Проводя опыты, я сотни раз в день пользовался микроволновкой, и необходимость постоянно облучать себя и окружающих всерьез меня тревожила.

Пришлось вникнуть в способы измерения электромагнитных полей. Вопрос на удивление нетривиальный – простейшие дозиметры, которых пруд пруди в интернет-магазинах, не подходили. В статье, сравнивающей бюджетные модели, наглядно доказывалось, что показания дозиметров этой категории разнятся на несколько порядков.

Я стал настаивать на покупке профессионального прибора. Речь шла о нескольких сотнях долларов, и тут истерика началась у профессора Басада. Разбрасываться средствами он был не намерен! Меж тем мы уже с горем пополам разобрались с воздухозаборными клапанами, научились пользоваться итальянским микроволновым генератором и почти сразу убедились в его непригодности для наших нужд. А возможности бытовой микроволновки, во всяком случае, в ее первозданном виде, были практически исчерпаны. Дилемма, что и как делать дальше, становилась все острей и актуальней. Шмуэль рвал и метал, требуя родить решение в кратчайшие сроки.

– Ма́ксим, СВЧ-печь не просто так сделана из металла. Там все, даже дверца, покрыто металлической сеткой, – как можно спокойней повторяю я уже далеко не в первый раз. – Корпус микроволновки – это клетка Фарадея[40]. Она экранирует поле.

---

[40] Клетка Фарадея – устройство для экранирования электромагнитных полей, представляющая собой электропроводящую оболочку.

Там размер каждой ячейки выверен… – обращаюсь я уже к профессору Басаду. – Все зазоры и дырочки должны быть значительно меньше длины волны. А он хочет раскурочить и вытащить…

Профессор Басад недовольно морщится. Я пилю его на тему дозиметра уже не первую неделю, а он отмахивается, приводя в пример мобильные телефоны, которые мы все таскаем в карманах.

– Но послушайте, я не понимаю! Ладно, допустим, вам плевать на меня, но в комнате работают еще три человека, студентов сюда водят… Их вы тоже готовы облучать? – не унимался я. – За тонкой гипсовой стеной с одной стороны сидит системщик факультета… Его тоже "жарить"? А с другой – ты, Ма́ксим. Тебе самому-то нормально часами облучаться?!
– Чепуха! – презрительно поводит плечом Ма́ксим. – Вот у нас в Нетивоте…
– Пожалуйста, только не Нетивот, – взмолился я. – Поймите, это не шутки, нельзя разбирать СВЧ-печь. Клетка Фарадея, экранирование… эм… Шмуэль, вы же регулярно приходите в лабораторию, вас собственное здоровье не заботит?

Ма́ксим, продолжая старательно делать вид, что меня не существует, преданно глядит на Шмуэля и отрицательно поводит головой из стороны в сторону. Не вполне понятно, как это ему удается при такой носорожьей шее. Мне даже становится немного боязно, что сейчас его башка отвалится, стукнется о край стола, бухнется на пол и выкатится в коридор, погромыхивая пустотами.

Однако на самом деле мне уже совсем не смешно. Шмуэль хочет во что бы то ни было сэкономить деньги, а Ма́ксим – любой ценой свести со мной счеты. И страшно подумать, чем это закончится. Светлым проблеском на мрачном горизонте стало извещение от ректора, который рассмотрел кандидатуры от всех факультетов и выбрал меня единственным представителем Техниона на соискание стипендии Азриэли!

Это приятно льстило самолюбию, и после долгих недель ворчливого недовольства я удостоился поощрительного замечания от моего научного руководителя. Но прохождение отборочного тура на пути к возможной будущей номинации никак не предохраняет от облучения. Поэтому вернемся к основной канве и делам более насущным. Паника на тему электромагнитных волн началась у меня на фоне других страхов, связанных с антисанитарией в лаборатории и с токсичностью наночастиц.

Во-первых, мы часто работали с мясом – преимущественно индюшатиной, симулировавшей в экспериментах живую ткань. Индюшачьи грудки

размораживались, бултыхались весь день в тазиках, где их облучали ультразвуком и теми же электромагнитными полями, вводили в них наночастицы и другие вещества, а вечером мы их вновь замораживали. Мясо, в целях экономии, менялось раз в две-три недели и к концу уже попахивало.

Во-вторых, в том же маленьком замкнутом пространстве работали с наночастицами, которые токсичны, являются канцерогенами и, возможно, вредны еще в чем-то, но этого никто не знает, так как они пока недостаточно изучены. При этом у нас не было ни вытяжных химических шкафов, ни защитных масок. Рабочие поверхности в конце дня протирались обычными влажными салфетками. Разговоры с профессором Басадом на эти темы не возымели действия: он либо повторял свою излюбленную поговорку о том, что если ради грантов придется танцевать на столах, то мы будем танцевать на столах, либо разводил руками и ссылался на Божью помощь.

Однако Божья помощь все не приходила. Антисанитария, токсичность и канцерогенность, а теперь еще и электромагнитное излучение – для меня это было уже слишком. Фобии множились, и это Ма́ксимово “вытащить” и “жарить” стало последней каплей.

Паника бушевала по всем фронтам. Включая микроволновку, я и так каждый раз отбегал и прятался за стальной шкаф. В этом катастрофически негерметичном шкафу, кое-как прикрытые фольгой, хранились токсичные наночастицы. Но выбирать не приходилось – другого достаточно большого металлического предмета, за которым можно было бы укрыться от излучения, просто не было. После каждого посещения лаборатории я остервенело мыл руки. Кажется, за всю жизнь я не вымыл руки столько раз, сколько с начала аспирантуры. Кожа на пальцах и ладонях уже отслаивалась лохмотьями.

Идея разобрать микроволновку привела меня в ужас, но продолжать спор в присутствии Ма́ксима не имело смысла. Он держался так, будто ему ничего не стоит перегрызть колючую проволоку, на руках вынести трактор из горящей избы или остановить комбайн на полном скаку. А тут какие-то крохотные наночастицы да микроволны… Колхозник и без того, если и удостаивал меня взглядом, то смотрел, точно солдат на вошь.

Я принялся ежедневно сверлить мозг Шмуэлю. Не стану расписывать, сколько нервов это нам обоим стоило. Но в итоге он сдался и, стеная о дороговизне, подмахнул бланк заказа на приобретение вполне приличного дозиметра.

Предварительно я начитался научных статей и страшилок об электромагнитных излучениях. Кстати, оказалось, что в России и Израиле одни из самых строгих стандартов дозволенной интенсивности электромагнитных полей. Хотя логично было бы предположить, что в Европе и Америке с этим будет жестче. Но нет, в наших краях эта озабоченность раздута свыше всякой меры. Действительно, нечисть заморская в воздухе летает, а ее не видно и не слышно. Чур нас, чур!

По прибытии дозиметра я с ходу принялся экспериментировать с ним в нашей каморке при лаборатории, и без тени сомнения установил, что там сущая электромагнитная катастрофа. Экраны, компьютеры, измерительные приборы – все излучало с чудовищной мощностью. Кроме прочего, в углу торчала микроволновка – не та, в которую я запихивал наночастицы, а для разогревания кошерной пищи профессора Басада.

Разделавшись с лабораторией, мы с дозиметром выплеснулись в коридор, где недавно сделали ремонт с современным дизайном в стиле “кишки наружу”. Весь потолок усеивали косы разноцветных проводов питания и коммуникаций. Вместе с пестрыми трубами это смотрелось эффектно, но излучение зашкаливало невероятно. Двигаясь дальше, я заглянул к системщику, за спиной которого громоздились стеллажи серверов. Дозиметр зашелся в припадке, будто счетчик Гейгера вблизи ядерного реактора. Истошное пиканье слилось в протяжный истерический вой. Пояснений не требовалось, системщик выскочил из комнаты еще быстрее меня.

Дозиметр выглядел внушительно. С разлапистой антенной и со всем и каждому понятным пищанием, усиливающимся и учащающимся с возрастанием мощности поля. В сопровождении ошалевшего системщика и нескольких праздношатавшихся аспирантов я заявился в кухонный закуток, где тщедушный престарелый профессор разогревал в микроволновке диетический обед.

Его сдуло оттуда в мгновение ока. Больше он в тот день не показывался и, видать, так и сидел в кабинете голодный. Дальнейшее триумфальное шествие по зданию факультета сопровождалось всевозрастающей толпой любопытных и встревоженных.

Кошмар нагнетался. На свет выползали самые страшные фобии. Профессора, доценты, аспиранты и студенты всех мастей множили переполох, распуская преувеличенные необузданным воображением слухи и самозабвенно запугивая ими друг друга и самих себя. С утра до вечера они штурмовали нашу комнату,

упрашивая проверить их кабинет, рабочее место, аудитории, и даже требовали одолжить дозиметр на вечер, чтобы стращать родных и близких у себя дома.

На кухню, где обитала ужасающая СВЧ-печка, почти никто заглядывать уже не отваживался. Во всех точках здания, где я побывал с моим чудо-аппаратом, диагноз оставался неизменен: интенсивность электромагнитного фона значительно превосходила все принятые стандарты – и наши, и русские, и американские.

Верещание прибора оказалось красноречивей любых слов. Действие его было гипнотическим. В конце концов повальность разведенной мной паники проняла даже профессора Басада и Ма́ксима. Шмуэль забрал дозиметр домой на выходные и еще дня три не возвращал его. Уж не знаю, что и где он там измерял, и чем это кончилось.

Успешно поставив на уши весь факультет, я начал было подумывать, что бы такое учинить, чтобы убедить профессора Басада приобрести вытяжной химический шкаф и прекратить травить нас наночастицами. Но тут, в очередной раз копаясь в спецификациях моего ненаглядного дозиметра, я с ужасом обнаружил, что неправильно подсоединил резисторные насадки, меняющие диапазон чувствительности прибора.

Я весь покрылся испариной. Привинтил насадки как надо и сразу понял, что все мои измерения происходили в миллиединицах. Все, абсолютно все результаты были в тысячу раз завышены.

Таким законченным кретином я не чувствовал себя уже давно. Часа полтора, не в силах подняться со стула, я пялился то в инструкцию, то на зажатый в руке дозиметр. В мозгу то и дело вспыхивали сцены минувших недель – мои чеканные фразы и неоспоримые заключения, произносимые с таким апломбом.

Я даже успел разозлиться на всех этих лопоухих научных деятелей, которых я до смерти запугал какой-то патентованной пищалкой. И ведь никто не возразил! Не усомнился! Я мгновенно вскипел. Но, сделав над собой волевое усилие, так же быстро остыл.

Я сидел, оглушенный и ослепленный осознанием собственной невообразимой дурости. Стыд – слишком обыденное и прозаичное слово. Меня переполняла монументально-незыблемая пустота. В какой-то момент я встал, как ходячий труп, прошагал в кабинет Шмуэля, положил на стол дозиметр и во всем покаялся.

Надо отдать ему должное: профессор Басад воспринял мои признания на удивление спокойно. Даже флегматично. Простить самого себя так же легко я не мог. И еще долгие недели всякий раз вздрагивал, вспоминая эпопею с дозиметром. Но время шло, наслаивались новые неотложные дела, все постепенно забылось и пошло своим чередом.

Однако идея разбирания микроволновки была похоронена под еще не затихшими отголосками всеобщего ажиотажа. И даже после моего позорного саморазоблачения Ма́ксим не осмелился ее эксгумировать. Больше мы к этой теме не возвращались. Остались лишь привычные и почти родные: токсичность, канцерогенность, антисанитария и маниакально частое мытье рук.

Врачи и крылья

> В госпитале Йоссариан чувствовал себя гораздо спокойней, чем где бы то ни было, хотя хирургов с их скальпелями ненавидел гораздо сильнее, чем кого бы то ни было. В госпитале он мог истошно заорать, и люди кинулись бы к нему на помощь – сумели бы они его спасти или нет, это уж другое дело, – а начни он за пределами госпиталя орать о том, про что каждый разумный человек должен орать на весь мир, и его немедленно упекли бы в тюрьму или в госпиталь.
>
> Джозеф Хеллер

У меня хронический вывих плеча. Правильней называть его привычным вывихом, но в самом вывихе привычного мало, за исключением того, что кроме как свыкнуться, сделать с ним в моем случае ничего нельзя. Однако я иногда пытаюсь что-то предпринимать, и в рамках такого “чего-то” недавно сходил на альтернативный массаж.

В кабинете восседал настолько здоровенный детина, что сразу стало как-то не по себе. Поднявшись, он с хрустом размял пальцы, будто произведенного впечатления ему показалось не вполне достаточно. Но отступать-то некуда. И вот добрался этот “заплечных дел мастер” до моей шеи, взял в борцовский захват, с треском крутанул туда-сюда (я думал, мне крышка – отвернет башку, и все), ан нет, голова, как ни странно, осталась на прежнем месте. Тут он настороженно ощупал шею и выдал:

– А вы в курсе, что у вас лишнее ребро?

И углубился в пояснения и пространные рассуждения. Выламывает мне конечности и разглагольствует, а я лежу, обескураженный таким известием, и слушаю о том, что в эмбриональном периоде у человека имеется двадцать девять пар ребер. Но полностью вырастают лишь двенадцать, а остальные постепенно редуцируются. А у меня все не как у людей. Врожденная аномалия в виде шейного ребра.

Дальше он принялся за мистические гипотезы. Я-де создан не ветхозаветным Богом, а некой иной верховной сущностью. Или из моего ребра не сотворяли женщину. И поэтому осталось лишнее, даже два – по одному маленькому ребрышку с каждой стороны.

– Кстати, – вдруг посетила его свежая мысль, – можно из этого ребра сделать для вас вторую половинку. Так сказать, идеальную пару…

Лирически настроенный костоправ продолжил в том же духе и сообщил, что эта аномалия – шейные ребра – встречается значительно чаще у женщин, чем у мужчин. И это, мол, резонирует с теорией о происхождении женщины по Моисееву Пятикнижию. Действительно, из мужских ребер делали женщин, а из женских – ничего не делали. Не поспоришь.

Дальнейшие философствования изобиловали анатомическими подробностями, я потерял нить и задумался о своем. Последнее время я стал поневоле интересоваться иудейскими притчами, чтобы хоть иногда и хоть приблизительно понимать, чем профессор Басад канифолит мне мозг.

Недавно наткнулся на статью в Википедии о пророке Моисее. Там на титульном изображении в обнимку со Скрижалями Завета, на которых заповеди высечены подозрительно латинскими буквами и пронумерованы не менее подозрительными римскими цифрами, красуется образцово-показательный седовласый старец. Даже не старец, а умудренный жизнью муж – белокожий, чистенький, с опять же, крайне подозрительно арийской внешностью и холеной бородой. Будто он не в пустыне скитался, а вот только что совершил омовение в роскошной купальне, умастился благовониями и встал позировать. Ни дать ни взять – римский патриций.

Для довершения благолепного образа и исторического диссонанса он почему-то облачен в роскошное атласное одеяние с золотым шитьем – надо полагать, по последней моде XVII века, когда его намалевал художник Филипп де Шампань. Возможно, он и сам понимал всю несуразность и историческую недостоверность, просто опасался, что если пророк на его картине предстанет в рубище да еще с семитскими чертами иноверца, ему – в смысле, художнику – не поздоровится от инквизиции или другого карательного органа его любящей матери – Святой католической церкви.

Увиденное так меня поразило, что я забыл, зачем изначально лез в Википедию. Это примерно как сегодня изобразить Моисея в стильном пиджачке, а скрижали… а скрижали – пусть уж сразу на лэптопе. Запостил в фейсбуке, зашерил френдам, собрал лайки и готово. Куда как удобней, чем с каменными таскаться. Только в наши дни это бы называлось карикатурой, а не творением высокого искусства.

Длинное отступление, даже по моим меркам… По-видимому, я подспудно избегаю говорить о том, о чем должна пойти речь в этом фрагменте. Или тут вновь как-то замешан Аствацатуров… Но так или иначе, пусть окольными путями и до поры укутывая острые углы в иронию, я туда доберусь.

Итак, лишние шейные ребра не выполняют никаких полезных функций, наоборот, их наличие может причинять дискомфорт. Однако дискомфорт они мне пока не причиняют. Торчат себе там, как зачатки крыльев, и все.

К крыльям мы еще вернемся, а теперь пора бы и про врачей. Про врачей, которых я так люблю, и про присущую каждому смесь чувств страха и надежды к исполняемой ими роли. Как-то лет десять назад у меня разболелась спина. И пошел я на этот раз к ортопеду… было бы странно отправиться, например, к урологу или стоматологу, верно? …так вот, пошел я к ортопеду, и не к рядовому ортопеду, а главному специалисту по позвоночнику в северном регионе нашей страны, славящейся отменной медициной. И этот главный специалист сообщает:

– У вас, голубчик, сломан позвоночник.

Восхитительно, правда? Как тут не полюбить врачей?! Я на некоторое время забываю, что надо дышать. Судорожно пытаюсь уцепиться за логику, за здравый смысл. Стоп-стоп, как же так? Что значит “сломан позвоночник”? Ну да, болит зверски, но к чему такие крайности. Я же утром выбрался из постели, ходил по квартире, сел в машину и приехал к тебе, остолопу, в другой город. Как, спрашивается, я ухитрился все это осуществить со сломанным позвоночником?

Еще в детстве я заметил, что слово “врач” как-то подозрительно созвучно с глаголом “врать”. Много позже оказалось, что оно не только созвучно, но и связано. И, по одной из версий, связано довольно тесно. В старину лечили заговорами и нашептываниями. Знахарь бормотал их над больным, изгоняя хвори. А вплоть до XIX века бормотание и болтовню называли враньем. Вот и получалось – кто врет (то есть бормочет), тот и врач.

Сегодня врачи совсем другие, но заливать, в смысле – врать, они горазды и по сей день. А некоторые пережитки врачества мне еще довелось застать в советском детстве. Не скажу, чтобы я во всем этом участвовал, но видывал и наслышан. Начнем с относительно безобидного: дышать паром вареной картошки при простуде. Сама по себе неприятная процедура, но чтобы сделать ее еще более жестокой, следовало накрываться с головой одеялом. Как много позже заметила одна моя знакомая, “за такое мучительство нужно лишать родительских прав”.

А мой армейский сослуживец из Саратова как-то рассказывал о полоскании горла авиационным керосином. Покруче, – говорил, – любого лекаря. Но за здорово живешь авиакеросин не раздобыть, – сетовал он. Вот это да! – помню, ошарашенно думал я. И с небольшой задержкой накатила следующая мысль – как же мне повезло, что мой папа не был летчиком.

Однако даже без столь экстремальных мер как керосин, у знахарства и народной медицины неиссякаемая фантазия, когда дело доходит до измывательства над беззащитными пациентами. Особенно если эти пациенты дети. А еще лучше – маленькие дети. Банки[41], горчичники[42], зеленка[43] – раздолье на любой вкус. Можно, допустим, прикладывать к носу горячее яйцо. А то и сразу два – по одному с каждой стороны, и всю оставшуюся поверхность физиономии измазать зеленкой, чтобы стало совсем хорошо. Или соль в мешочке – тоже горячую. А можно более утонченно, с подвывертом, скажем, пичкать какой-нибудь полезной гадостью – черной редькой с медом, либо рыбий жир смешать с еще чем-то не менее мерзопакостным…

Хотя, опять же, все познается в сравнении. Мой сослуживец, чей батя в былые годы расхищал народное имущество ради того, чтобы травить авиационным керосином родного сыночка, рассказывал, как они с пацанами гудрон жевали.

– Ужас какой, – выпалил я. – А гудрон-то зачем?
– Да,.. – тут он цветисто выразился, – жвачек не было. Дефицит. А гудрона на стройках хоть жопой жуй. Правда, зубы потом черные.

“На жопе?” – хотел пошутить я, но меня перебили:

– Тю, а как же! Помню… – ностальгически выдохнул какой-то незнакомый коренастый тип. – А мы еще смолу жевали. Вишневую.

Тут я осознал, как много пропустил в детстве, и решил, что с орлами такого полета, пожалуй, шутить не стоит.

---

[41] Научные доказательства пользы банок отсутствуют. Применение этого метода может быть вредно для здоровья.
[42] Полезность горчичников – весьма спорный вопрос.
[43] Зеленка не используется практически нигде, кроме стран СНГ. Имеются сомнения в ее антисептических свойствах, а также подозрения, что некоторые ее компоненты токсичны. Несомненно одно – людям не нравится покрывать себя зелеными пятнами. Особенно если можно этого не делать.

В свете вышесказанного придется взять часть моей критики обратно. Для любителей пожевать строительный гудрон заполировать его авиационным керосинчиком должно быть за милое дело. А на фоне того, какие непотребства вытворяли над собой больные (и даже здоровые), мои претензии к кустарному наследию врачества как-то меркнут.

Кстати, слово “врачевство” действительно существует. Полагаю, им не особо пользуются именно потому, что в нем слишком явственно звучит отголосок тех самых врак. Врач, врачевство, враки, врать…

Впрочем, это никудышная история. Нет сюжета. Одни разглагольствования. Так что – все. С этим покончено. Отрясаю прах этой истории с ног, рук, зачатков моих крыльев и всего прилагающегося. Вперед к будущему! К фабуле! К сюжету!

История с сюжетом и опять же про врачей.

Прихожу, значит, я к врачу. Не со скуки прихожу. По делу. Опухла щека и болит. И ладно бы только щека, а тут – аж вся левая часть физиономии. Даже сглотнуть слюну не могу. А мы – млекопитающие, – оказывается, постоянно это делаем. Короче, ни есть, ни пить… Да и говорить с трудом удается.

Врач на меня полюбовался, призадумался и направил на биопсию. “Поезжай прямо сейчас”, – говорит. Поехал, сделали мне срочную биопсию. Приятного мало – втыкают иглу в шею, выдирают небольшой кусок плоти и затем почему-то дают предварительное заключение на руки.

Возвращаюсь домой, лезу в интернет, делаю поиск на ключевые слова и… мне становится нехорошо… и сквозь пелену этого “нехорошо” на экране маячит диагноз: редкое сочетание рака с ВИЧ.

Назавтра после незабываемой ночи возвращаюсь к врачу. А он – умер.

– Врач умер, – сообщают в приемной.

Я даже про злополучный диагноз забыл. Стою, вспоминаю: крепкий, лет сорока пяти, вчера он на работе, а сегодня… Такая манера еще у него была, пощипывая подбородок, важно поглядывать поверх очков. Словом, внушительный дядька. А тут – бац и умер. Как-то это не шибко профессионально с его стороны.

Рак, ВИЧ, врач умер – хорошенькое начало, – подумалось мне.

Второй врач… не беспокойтесь, ему не суждено скоропостижно скончаться посреди следующего абзаца …второй послал меня на более обстоятельную биопсию – под полным наркозом.

Приехал в больницу, госпитализировали меня, подготовили к операции, вкололи что-то и повезли. В предбаннике операционной тетка с маркером ко мне тянется и норовит этим маркером в здоровую часть лица клюнуть. Уже в полузабытьи, я как-то догадался, что это она так отмечает, где резать. Догадался и шепчу: “Тетенька, вы что? Это ж не то полумордие”. А сам в ужасе думаю – что происходит? Опухоль-то уже в пол-лица, ошибиться сложно. Что же тут со мной сделают, если им такие очевидные вещи… неочевидны.

В общем, поставила она кое-как эту метку, и я отключился. Очнувшись от анестезии, сразу хватаюсь за лицо, нащупываю шов через повязку, и самые страшные опасения сбываются – не то отрезали. Отчекрыжили сантиметров на десять в сторону и ниже. Все одно к одному.

Выскакиваю из палаты, меня еще слегка ведет после морфина, врываюсь в… в… от ужаса я даже слово забыл… как этот кабинет называется, где врачи от пациентов прячутся?[44] Короче, врываюсь туда, набрасываюсь на первого встречного. Он тычет пальцем в молодого хирурга. Тот, выслушав, усмехается.

– Верно, – говорит, – я намеренно ниже отрезал.
– Что-что?! – я не верю своим ушам.
– Понимаете, – продолжает он весело, – если это действительно рак лимфатических желез, то он за пару дней распространяется по всему телу, и тогда… ну, и тогда уже неважно, где оперировать. А если нет, то не стоит резать там, где опухоль, – шрам останется некрасивый.

Хотя я только-только узнал, что моя предполагаемая болезнь столь скоротечна, странным образом это успокаивало. Раз так щепетильно заботятся об эстетических тонкостях, должно быть, еще не все потеряно.

И впрямь, как можно бы заключить дедуктивным методом из того, что: а) это роман от первого лица; и б) эти буквы я печатаю, а слова подбираю, не из какого-то там загробного мира; первоначальный диагноз не подтвердился. Впрочем, радоваться было пока рано.

[44] Господин Редактор подсказывает, что этот кабинет называется “ординаторская”.

Два следующих месяца я метался по врачам, выдвигавшим разнообразные и причудливые гипотезы о причинах моего недуга. Не медицина и даже не врачество, а какая-то жалкая пародия. Тем временем мое самочувствие неуклонно ухудшалось, а опухломордие расцветало, пугая окружающих усугубляющейся асимметричностью. Вдобавок становилось все труднее и больнее ворочать языком. Я постепенно терял не только человеческий облик, но и дар речи, и был вынужден изъясняться преимущественно пантомимой.

Наконец-то причина моих мытарств была установлена: камень в слюнной железе или ее протоках. Прежде я даже не подозревал о существовании таких желез. Однако они есть, и есть их выводные протоки, открывающиеся в ротовую полость на верхушках специальных подъязычных сосочков. А сами железы расположены под скулами. Как-то так. Или, во всяком случае, приблизительно так утверждали медики.

Стало быть, камень в железе. Ерунда, особенно на фоне предварительного диагноза. Элементарное шунтирование, камень небольшой и вытащить не проблема, – заверяли врачи. В ту пору мне было не до лингвистических изысков, и я не вспоминал, откуда происходит слово “врач”. Нарисованная ими картина казалась как нельзя более ясной, а решение – логичным и простым. Наученный горьким опытом толкования диагнозов при помощи интернета, я больше не стремился расширить свои познания. Врачи все доходчиво разъяснили, я поверил и успокоился. Но не тут-то было.

Одна за другой были проведены две неудачные операции шунтирования. Сперва камень был обнаружен, но извлечь его не удалось. Потом они затолкали его куда-то, и не могли найти. Каждый раз надо мной измывались часа по три – в полном сознании и на глазах у группы любознательных стажеров. Проводились обе процедуры крайне агрессивным врачом и сопровождались мерзкой и острой болью.

Я попытался возмутиться, но главврач, соизволивший принять меня лишь после настырных прошений, с нетерпением предложил, раз я так нежен и чувствителен, просто-напросто удалить эту железу. Действительно, что тут рассусоливать, давайте отрежем. Но постойте, как это “отрежем”? Их же, как я понял, всего две – одна под правой скулой, другая – под левой. А если и со второй что-то станется, тоже удалим? И как я без них тогда?

Еще там присутствовал этакий пузатый добрячок с гипертрофированным чувством юмора, неустанно балагуривший по поводу моего, как он выражался, драгоценного камня, величавший своих коллег кладоискателями, каламбуривший на тему

приисков, золотой лихорадки и еще чего-то в подобном духе. Остального не упомню, мне как-то было не до того. Я был зациклен на том, что у меня две железы, и одну из них хотят оттяпать, чтобы лишний раз не заморачиваться.

Много позже один мой начальничек – он очень любил повторять “Я начальник!” – утверждал, что слюнных желез четыре. Есть, дескать, еще две где-то в районе ушей. Все было уже позади, и выяснять, кто прав, я тогда не стал. Пусть у него будет четыре, раз ему так нравится. Он же “начальник” как-никак. А у меня зато крылья, ну… или их зачатки, а у него ни крыльев, ни даже их зачатков не наблюдалось.

Ну вот… я снова увлекся. Вечно меня заносит.[45] Однако, во имя восстановления анатомической справедливости, при написании этого фрагмента я досконально выяснил вопрос и ответственно заявляю, что слюнных желез у нас много. Три пары больших и еще туча мелких. Видать, и вправду можно спокойно их удалять – хотя какой в этом смысл, если проблема с протоками?

Вероятно, их логика была такова – этот тип уже достал, давайте ему что-нибудь отрежем, а там видно будет. Авось поможет. Или так: отрежем, чтобы неповадно было сюда таскаться и по пустякам морочить голову занятым людям.

Как бы то ни было, моя теперешняя осведомленность никак не снижает остроты тогдашней ситуации. Итак: слюнных желез (в моем тогдашнем представлении) у гомо сапиенсов две, и разбрасываться ими направо и налево казалось слишком легкомысленной расточительностью.

Так как я не угомонился, было проведено третье шунтирование. С него я сбежал. Не выдержал. Специально ради меня оперирующим врачом был снова назначен тот же самый агрессивный садист, замечательно поиздевавшийся надо мной уже дважды и умудрившийся так искусно затолкать куда-то злосчастный камень, что теперь не мог его обнаружить.

Разинув рот, я полулежу в чем-то вроде зубоврачебного кресла, в полном сознании и под местным наркозом, который нисколько не помогает. В небо под языком воткнуто штук шесть каких-то металлических инструментов устрашающего вида. Надо мной нависает этот бармалей с ассистентами, чтобы не сказать – подельниками. Всякий раз, когда я дергаюсь от боли, он бросает инструменты так,

[45] Господин Редактор: Сколько можно?! Надо решить, что писать, и только потом писать. А вместо этого автор раз за разом признается, что сам не знает, что пишет и зачем. Да еще в оправдание то и дело ссылается на Аствацатурова.

что, падая на передние зубы, они впиваются в плоть воткнутыми в небо концами. Бросает и принимается орать мне в лицо. Вокруг толпятся стажеры, выразительно переглядываются, о чем-то шушукаются. А я даже не могу ничего ответить на вопли бармалея из-за этих железяк во рту, могу лишь сипло мычать.

Посередине этого истязания я сломался, вырвался и сбежал. Однако, как ни странно, у этой истории счастливый конец. Пришлось подсуетиться, раскошелиться, и я очутился в маленькой частной клинике на юге страны у настоящего специалиста. После анестезии и еще минут десяти неких, как мне казалось, подготовительных манипуляций, я поинтересовался, когда начнется сама процедура. Вместо ответа хирург потянулся за пробиркой, разжал пинцет, камешек звякнул о стекло, врач аккуратно закупорил ее и презентовал мне на память.

Однако такие счастливые развязки, как мы знаем, хоть и прикидываемся, что это как бы и не совсем так, – лишь временные и локальные победы в заведомо обреченной борьбе. Мы взрослеем, во всяком случае, так принято называть первую стадию телесной деградации. И мы все пытаемся оттянуть тот срок, когда вместо “взрослеем” придется употреблять “стареем”. Так усердно делаем вид, что не гнушаемся ничем, в том числе подобными лингвистическими уловками.

“Нынешние сорок – это когдатошние тридцать” – или какой-нибудь подобной вымученной и лживой сентенцией, догадываюсь, одарят меня на очередной юбилей. Мы взрослеем, мужаем или… не уверен, как назвать подобный процесс относительно женщин… можно с большой натяжкой сконструировать глагол “бабеть” или “возбабеть” – метаморфоза, при которой из маленькой козявки с двумя бантиками на макушке вымахивает целая бабища со всеми причиндалами… кхм… не, “причиндалы” Господин Редактор наверняка забракует, попробуем так: бабища со всякими впуклыми и выпуклыми атрибутами… хотя это тоже как-то не то… Впрочем, до каламбуров ли, когда мы стареем, и как это ни называй, как ни изгаляйся, наш организм, который мы привыкли отождествлять с собой, начинает нас подводить.

И не знаю как у вас, но у меня множество вопросов и возражений. Однако моего мнения не спрашивают, меня лишь извещают. Сперва этот мой организм – различными болезненными симптомами, потом, когда я пугаюсь в достаточной мере, чтобы начать метаться по врачам, они вгоняют меня в еще больший ужас непонятными диагнозами. И все у них не лечится: хронический вывих – не лечится; сломанный позвонок – не лечится; астигматизм – этим словом мой словарный запас обогатился совсем недавно,.. – и да-да, представьте себе, астигматизм тоже не лечится.

– Возраст, ничего не попишешь, – пытается урезонить меня окулист, когда я спрашиваю, почему падает зрение и как этого избежать. – Что вы хотите, вам уже вон сколько лет, – произносит она таким тоном, будто я с кем-то об этом давно договорился или подписал контракт, где мелким шрифтом был указан этот астигматизм, а теперь настал срок выплаты по счетам и… и из ее тона угадывается невысказанное: – С какого перепуга, спрашивается, вы еще тут чем-то недовольны?! Скажите спасибо, что проблемы со зрением у вас начались только сейчас.

Но я-то так не договаривался. Я ведь ничего ни с кем не подписывал.

И если бы предложили сделку, где в двадцать семь мне объявят, что у меня сломан позвонок; в, скажем, тридцать два будут шокировать короткими, но страшными словами, как выяснится позже, ложного диагноза, а затем несколько месяцев измываться над моей железой; и еще через пару лет начнет падать зрение… И это напомнит мне о том, о чем совсем не хочется вспоминать, – о том, что в какой-то момент у меня вполне может обнаружиться наследственная болезнь, в результате которой я начну слепнуть, и которая толком не лечится, а чтобы приостановить деградацию, необходимо делать внутриглазные инъекции.

И моя бабушка уже который год вынуждена ежемесячно таскаться в больницу, где ей втыкают иглу в глаз и вводят баснословно дорогой лекарственный препарат, который не помогает. То есть от него зрение не улучшается, это неизлечимо. Вся надежда лишь на то, чтобы замедлить ухудшение, и только в самом лучшем случае его остановить. Но нет, пока нет. Деградация не прекратилась и даже не замедлилась. И никто не знает, поможет ли эта терапия в дальнейшем.

И во всей этой несказанной прелести очередной многомудрый эскулап будет разводить руками и в недоумении интересоваться, что именно меня в таком раскладе удивляет или не устраивает? Я бы на такую сделку, если вы еще помните, о чем речь, не согласился. Меня все не устраивает. Все вместе и каждая жуткая и омерзительная деталь в отдельности. Я, кстати, в том перечне про хронический вывих забыл, но все это меркнет на фоне того, что уготовано в будущем мне и каждому из нас в преддверии неизбежного начала неизбежного конца. Так что, опять же, не знаю как вы, но я со всем этим КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен. Разве что… против крыльев бы, пожалуй, не возражал.

И меж тем как все вокруг осыпается, а мы пытаемся изобразить красивую мину при плохой игре, приправляя горькую реальность сальными шуточками, и делая вид,

что это все как бы понарошку,.. жизнь проходит мимо. И вовсе не незаметно, очень даже заметно. Заметно в каждом зеркале – пока не сильно, но уже явно. Да и если бы только в зеркалах, – в сущности, не так часто я в них заглядываю, – но с недавних пор я просыпаюсь, смотрю вокруг… выбора-то особо нет – проснулся, открыл глаза и приходится куда-то смотреть… так вот, смотрю я вокруг, и вижу не это “вокруг”, а астигматизм.

Каждый день… каждый день первое, что я вижу, – это то, что я вижу хуже. Из нечеткости всякой мелкой детали щерится напоминание о том, что в моем глазу угнездился и прогрессирует этот самый астигматизм. Он выглядывает из каждой размытой грани каждой поверхности. Из стен и фасадов знакомых зданий. Я выхожу на улицу, и каждая табличка, которую я раньше мог ухватить издалека цепким взглядом, буквально кричит мне о нем. Астигматизм таращится на меня из каждого дорожного знака, из каждого столба, из затертых и поблекших очертаний дальнего конца моей улицы, привычно сворачивая на которую, я вижу не красиво распахивающуюся перспективу, а астигматизм. И всякий раз заново убеждаюсь, что мои глаза меня предают. Еще так недавно острое зрение меня подводит.

Я замираю у большого окна в гостиной, перед которой справа бугрится холмистый ландшафт, тут и там живописно застроенный невысокими домами, а слева вдалеке лоснится берег и раскинувшееся до горизонта море… Я замираю, смотрю и вижу не рельефный пейзаж и не морскую гладь, а астигматизм.

Через эту призму еще отчетливей заметно увядание моих родных и близких, и первые весточки этого ужасающего и невместимого в сознание процесса среди немногих друзей и знакомых. И мне страшно. Горько, больно и жалко. Всех вокруг нестерпимо жалко. Не могу на это смотреть. Вероятно, потому зрение и портится.

А пока я пишу, этажом ниже орут друг на друга соседи. Особенно громко заходится соседская жена – тучная, неопрятная, но на редкость вежливая и обходительная при встрече на лестнице. Она орет на мужа, орет на своих детей: “Я убью тебя! Убью вас!” Порой мне кажется, что это они от ужаса. А этажом выше несколько раз в неделю бренчат на бесчеловечно расстроенном фортепьяно невесть какими судьбами занесенный в наши края детский мотив – в траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, представьте себе, представьте себе,.. – звучит это так безысходно, будто кто-то подвывает от ужаса, от животного страха. И я не знаю, что жутче – крики неопрятной тетки или этот болезненный и заведомо обреченный кузнечик, никак не ожидавший такого вот конца.

И на фоне осыпающейся окружающей реальности, телесного распада и увядания, я смотрю на себя и свой так называемый жизненный путь… Хотя это больше походит на заплутавшую тропку, затерянную стежку, если не на заячью попытку замести следы, скрыться, избежать… Чего избежать? От чего скрыться? Я точно не знаю.

Я только знаю, не хочу признавать, но где-то в глубине – знаю, что живу будто не по-настоящему. Будто тренируюсь. Набрасываю эскиз. Черновик. К чему-то готовлюсь, отрабатываю, оттачиваю какой-то жест, слово, штрих… А пока я упражняюсь, жизнь, проживаемая тем временем как бы понарошку, проходит каким-то “мимо”… А я все тренируюсь, чтобы когда-нибудь, когда настанет тот самый миг, взять кисть и сделать некий крайне важный и неповторимый мазок… Хочется так легко и изящно, чтобы взмахнуть крылом, чтобы рассыпались искры и… и… Но я все никак. Никак не могу красиво раскинуть крылья.

Да и как их раскинешь? Когда взгляд уже не так зорок, когда сломан позвонок, вывихнуто плечо, и не раскинуть крылья, как хотелось бы. И даже не раскинуть, как мог когда-то, и вовсе не так давно. Но все равно… Все равно ведь надеешься…

На что?

Смешно даже… смешно до слез.

Психосессия

– Привет, Ян. Как дела? Как себя чувствуешь?
– О-ох… какие-то непролазные дебри… – я обхватываю голову руками и скольжу невидящим взглядом по узорам выцветшего ковра.
– Хочешь поделиться? – почти шепотом произносит Рут, выждав минуту-другую.
– Да уж! Придется! – вскидываюсь я, озлобляясь на себя и свое аморфное состояние. – Куда не плюнь, кругом ублюдки. Один другого краше… – я с остервенением потираю виски. – Все опостылело. Тревожный Магистрант вампирит окружающих, Ма́ксим – колхозный рыцарь – задолбал с его бойкотом и попытками примирения, ну и профессор Басад в своем репертуаре… А, да! Еще этот курс его… курс выживания – иначе не назовешь… – на меня снова наваливается сосущая тоска. – Не знаю, не знаю… Я скоро сойду с ума…

Опять воцаряется тишина, и я начинаю грызть себя за это – за несостоятельность, за неумение приступить к чему-либо без хождений вокруг да около, без предисловий, без экивоков. Хотя, казалось бы, к чему это тут – в до боли знакомом кабинете психоаналитика.

– Даже не знаю, с чего начать… – через силу выдавливаю я.
– Начни с чего-нибудь, – подбадривает Рут. – Не важно, с чего.

Я тяжко и как-то чересчур трагично вздыхаю. Что со мной такое? Что за слюнтяйство?

– Как-то вся жизнерадостность прошлой недели выветрилась. Наночастицы, теснота в комнате и Тревожный Магистрант… – Воспользовавшись санкционированной лазейкой, я принимаюсь говорить совсем не о том, о чем следовало бы: – Почему я должен, кроме профессора Басада, терпеть еще и его истерические закидоны?
– Что-то снова произошло между тобой и научным руководителем?
– Вот именно… Сперва я завалил первый экзамен. Ну, не завалил, но для аспирантов недостаточно проходного балла, надо сдать на отлично, а не то начинаются проблемы.
– Мм-угу, – понимающе кивает Рут.
– Потом он подставил меня на переэкзаменовке. До сих пор не могу понять, что это было.
– В каком смысле подставил?

– Ну,.. я там решил как бы в зеркальном отражении. В принципе, от этого ничего не меняется.
– Мм-угу.
– Та же задача, то же решение. Целый час бился. Потом вдруг меня осенило, подзываю Шмуэля, спрашиваю: “Можно так оставить?” А он: “На экзаменах следует решать то, что задано, а не что вздумалось!” Не помнишь? Я же тебе рассказывал.
– Помню, конечно. Только хотела уточнить.
– Ну вот. Вздумалось мне, понимаешь ли! Он же насильно меня записал. И все это изначально преподносилось в виде необязательной просьбы – походи, послушай. Аккуратненько, без нажима, прям как с нанотехнологиями… чудеса маневрирования, я только постфактум осознал, что область моих исследований изменилась. Шмуэль в прошлом году грантов нахватал, и теперь надо поставлять продукцию. Он же все наперед знал, заранее спланировал запихать меня в нанотехнологии, а прикидывается, будто это вышло само собой…

Да, так вот, в разгар сумасшествия со стипендией Азриэли профессор Басад вдруг зачисляет меня на курс. И беспечно так говорит: “Да ладно, это все для видимости”. Но экзамен-то не видимость. И после бессонных недель с этой стипендией остается пять дней на подготовку. И что? И как? При таком-то объеме материала…
– Мм-угу, – очередной проникновенно-сочувствующий кивок.
– В общем, к первому – не успел подготовиться. А на переэкзаменовке они меня оба подставили. Неясно зачем.
– Кто оба? О ком ты?
– Оба! Шмуэль велел перерешать все заново, а потом, когда я сдаю, он добродушно усмехается: “Ну, ты же понимаешь, что можно было оставить как есть. Зеркально, не зеркально – какая разница?”

Рут нахмурилась с какой-то трогательной сосредоточенностью.

– А я кучу времени убил, чтобы переписать, перерисовать графики… естественно, не успел закончить другие задачи, и снова оценка так себе. И уже предупреждение с кафедры. Пугают, что стипендию отберут. И знаешь, Шмуэль так это мне… ну, когда я сдавал… будто это какая-то наша общая шутка, типа и я, и он все прекрасно понимали…
– Это ты уже говорил, а кто второй? Ты сказал “оба подставили”.
– А, ну… Там как-то странно все… Телохранитель премьер-министра, который сидит со мной в комнате и ассистирует на курсе, – у нас чудесные отношения. Ни разу ничего такого. Ни конфликтов, ни даже намеков. Он сопереживал мне из-за этой фигни, которую Шмуэль устроил… Так вот, отзывает он меня в сторонку за пару дней до переэкзаменовки и по секрету сообщает, что задачи будут те же.

Идентичные. И что же? Нам раздают вопросник, а там ничего общего! Я, конечно, по всему материалу готовился, но… Вот как это понимать?!
– И ты с ним объяснился?
– Нет. Что тут скажешь… Он экзамен проверил, влепил неуд и как ни в чем ни бывало глядит сочувствующим взглядом. И тот, и этот меня так искренне надули – в голове не укладывается. Я прям видел, как Телохранитель переступает некий… внутренний барьер. И Шмуэль, принимая мои листки, лучился такой добротой и участием… И что теперь? Не идти же к Шмуэлю доказывать, что он меня обманул, или этому – Телохранителю – предъявлять…
– Да, – Рут помолчала. – Очень тебя понимаю.
– Кстати, с этим курсом та же история, как и со стипендией Азриэли.
– Что ты имеешь в виду?
– Да то, что курс не мне нужен, а Шмуэлю. Материал-то я знаю. Это моя специальность, в конце концов. С какой радости мне экзамен? Решать интегралы на бумажке наперегонки со студентами, которые четыре года подряд тренируются… Такие вещи моделируются на компьютере. Я их от руки лет десять не решал… Ох, эти тошнотворные подробности…

Я замолчал, чувствуя, что нет сил дальше хлюпать в этом болоте.

– Ты уже устал? – вкрадчиво спросила Рут.
– Тошнотворность – она в мелких обыденных деталях… Fuck!!! За что так подробно?!

Она дала мне немного перевести дух и продолжила:

– Давай все же разберемся. Тебя выдвинули на престижную стипендию. Что тебе кисло?
– Да уж, выдвинули… Видишь ли, и стипендия, и курс нужны в основном Шмуэлю. Со стипендии – деньги факультету и ему на исследования. Взяли именно меня не из каких-то личных симпатий, или в виде одолжения, а по расчету. У меня наилучшие шансы. Вот и все. А курс… Шмуэль хочет в следующем году сделать меня своим ассистентом. Телохранитель скоро заканчивает, и в аспиранты к нашему профессору его совсем не тянет. Кому отдуваться? Естественно, мне.
– Но ты же сам хотел преподавать. Верно?
– Хотел. Но не с моим научруком – то-то нам трений мало. Я хотел другие предметы. Но нет, он настоял. Договорились, что буду посещать лекции в качестве вольнослушателя. И тут его какая-то муха укусила. “Как это так, ассистент профессора, который сам курс не прошел? – и смотрит укоризненно. – Тебе это

кажется логичным?” Логичным, не логичным… Мне ничего не кажется, мы же именно об этом и договаривались.
– Ладно, хорошо. А что теперь?
– Неясно. До него в итоге дошло – после того, как я месяц на стену лезу… Дошло-таки, что он сам себе стреляет в ногу – пересдать-то можно только через год. И либо я ассистент, либо беру курс заново. А ему нужен ассистент. Да и не могу я год без аспирантской стипендии… придется бросить, уйти. И что тогда? Кто будет ассистировать? Кто представлять Технион у Азриэли?

Рут издала очередной хмык, полный всепонимающего сопереживания.

– В общем, думал он, думал и надумал дать мне проект. Отвел на это три месяца. Причем не просто проект, а именно по моей специализации. Я так обрадовался, даже поверить не мог.
– Ну вот видишь! Замечательно, очень за тебя рада.
– Ага, охренеть, как здорово! Сначала он потребовал, чтобы я в качестве проекта сдал компьютерную модель, которую разработал пару лет назад в одной фирме… Понимаешь масштаб абсурда? Он на лекции больше десяти минут распространялся об этой модели, как о технологическом прорыве и гордости нашей страны. Лекции на Ютуб лежат, каждый может полюбоваться… И при том создатель этого продукта заваливает вводный курс по этой же теме.
– Это все же разные вещи, – уклончиво обронила Рут. – Меня интересует этический аспект. Разве он имеет право требовать то, что сделано в коммерческой фирме?
– Нет, конечно. Это кража интеллектуальной собственности. Уголовщина. И “расплатиться”, – я изобразил пальцами кавычки, – за нее он хочет оценкой за курс. В каком искривленном пространстве такое сопоставимо?!
– Но ты-то сам как себя с этим чувствуешь?
– Да никак. С моральной точки зрения я еще не отошел от новогоднего выяснения моего этого… вероисповедания и расовой принадлежности. Как он смеет навязывать свои религиозные убеждения, орать, еврей я или не еврей…
– Это до сих пор тебя тревожит?
– Тревожит? – я расхохотался. – Меня бесит. Не то что мне так уж важно считаться “кошерным” в его глазах евреем, но что за дичайший ультиматум – либо ты с нами, либо против нас? И если – с нами, ты обязан принять наше мировоззрение и ненавидеть его псевдо-римлян – итальянцев, которые, – я снова изобразил пальцами кавычки, – “распяли” Христа. Да и самого Христа – за то, что его “распяли” итальянцы!

Рут грустно улыбнулась.

– Экие негодяи эти итальянцы – взяли да распяли. Вероятно, по повелению Папы Римского. Они же римляне, как-никак!.. Ох, знаешь, с практической точки зрения, меня гораздо больше парит дышать испарениями наночастиц. Это уже вопрос здоровья… А законы Шмуэль и так все время выворачивает наизнанку. Впрочем, не беспокойся: то, что было в той фирме, для нашей лаборатории все равно не подходит. Думаю, мне удастся слепить достаточно качественный аналог.
– Ясно… Но, тем не менее, это важный момент: если он заставляет тебя делать что-то незаконное, ты должен к кому-то обратиться.
– Да не к кому обращаться! Там как в феодальном обществе: вассал моего вассала – не мой вассал. Даже декан не станет указывать профессору. Кстати, травить нас ядовитыми испарениями, экономя на защитном оборудовании, – по-твоему, законно?

Рут выдержала паузу, чтобы моя истерия, усугубленная рецидивом нанопаники, сама собой рассеялась, не встретив сопротивления. Но куда там, точка невозврата была уже пройдена.

– Ладно, давай вернемся к настоящему…
– Что значит “ладно”? Ты оправдываешь?
– Хватит выкапывать обиды полугодовой давности! Выкапывать, возводить для каждой пьедестал, церемониально водружать и самозабвенно любоваться… Это тупик. Это ни к чему не ведет.
– Так ты же сама спросила! И потом, я до сих пор их расхлебываю. Никуда не делись ни наночастицы, ни его ксенофобия, ни…
– Да, спросила, – кивнула она, – а теперь я предлагаю сосредоточиться на расхлебывании, а не на оплакивании. Нечего увековечивать уязвленность.
– Знаешь,..

Подчеркнутое спокойствие и ее мягкий тон распалили меня еще больше.

– Знаешь, я уже начинаю терять смысл… Какого черта? Пока расхлебываешь одно, в пять раз больше наваливают – сплошная вонючая трясина, какое-то непролазное болото.
– Вернемся к сегодняшнему проекту. Ты сказал – сначала он потребовал продукт другой фирмы, там, по-видимому, было какое-то потом?
– А-а… Ну, потом он урезал сроки. Теперь на все про все три недели. Как ему не совестно регулярно перекраивать реальность? Она же в конце концов не выдержит… лопнет… Шмуэль ведь, по сути, никогда ничего не обещает. Все его так называемые обязательства обусловлены Божьей помощью. Крайне удобная

позиция – если что, можно развести руками и отбояриться, сославшись на волю Господню. Вот тебе и очередное болото. Да какое болото?! Просто море дерьма.
– Разве реально уложиться в такие сроки?
– Не, погоди. Я еще про дерьмо не закончил. Вся моя аспирантура походит на американские горки. Только из дерьма. Сперва я вкалываю на добровольных началах, потом меня не принимают по-человечески, а берут на испытательный срок – отдельное спасибо предыдущему научруку. Потом выдвигают на престижную стипендию, выбирают представителем всего института… пара недель затишья и… Та-дам! Заваленный курс, грозят отобрать аспирантскую стипендию и вызывают на разбирательство на кафедру.
– А при чем тут твой прошлый научный руководитель? Ты о нем не рассказывал.
– Ну, это отголоски прошлой жизни… до того, как я стал ходить к тебе и еженедельно исповедоваться.
– А подробнее?
– Да, пожалуйста, – тоже чудесная история. И опять о дерьме. Профессор Ван Виссер… впрочем, у него совершенно непроизносимая фамилия, звали его Пини. Когда я заканчивал магистратуру, он прозрачно намекнул, что если не пойду к нему в аспирантуру, могут возникнуть сложности с защитой. – Я нервно рассмеялся. – Половину своих магистрантов он действительно заваливал, так что это не был голословный ультиматум.

Пини – это тот, который прозвал сам себя пиписькой, а меня держал за придворного шута.

– Помариновал меня в подвешенном состоянии, а через месяц подкатывает: “Пойдем, – говорит, – в паб, потолкуем о будущем в неформальной обстановке. Мы вместе преодолели долгий путь…” И там – в пабе – принялся лапшу на уши развешивать, я-де прекрасный аспирант, бла-бла,.. и он хочет, чтобы я остался. Давай, мол, составим четкий договор и не будем повторять былые ошибки. Я, конечно, не стремился еще лет на пять к нему в рабство, но куда денешься. Подписал он мои условия, я защитился, поступил в аспирантуру, и в течение нескольких месяцев он отменил один за другим все пункты договора. Я ему документ сую, а он: “Видно, многовато выпил. На трезвую голову я бы на такое никогда не согласился”.
– И что ты сделал?
– Ушел, а что оставалось? Профессор Басад, то есть Шмуэль, на Бога стрелки переводит, а Пини – на пиво. Совесть, что ли, ампутируют, назначая профессором? Короче, пришлось возвращать стипендию. Удовольствие, прям скажем, ниже среднего.
– О'кей, а сейчас-то что?

– Сейчас прошло десять лет, я в Технионе не светился, чтобы все улеглось. Дерьмецо повыветрилось… – я злорадно усмехнулся. – И вот… принимаюсь искать нового руководителя и натыкаюсь на Пини. А он уже все пронюхал и снова заманивает к себе. И как только я начал работать в лаборатории Шмуэля, Пини накатал семистраничное письмо: мол, я не достоин быть аспирантом, и не поленился – приперся на мой факультет и собственноручно вручил декану.

Я выбился из сил и уставился в мутную дождевую взвесь за окном.

– Очень тебя понимаю, – сознательно занижая тон, проговорила Рут, – но давай вернемся к сегодняшним…
– Семь страниц, я не шучу… Уродище! – вспылил я. – Ты понимаешь, вообще? Дважды заманивать к себе, а потом утверждать, что я недостоин. Мало запороть мне одну аспирантуру… Нет, он сводит счеты десятилетней… эм… древности. Где такое видано?
– Все?
– Нет, почему?! Могу продолжить: дерьмо – ресурс неисчерпаемый.

Повисла напряженная тишина.

– Ян, ты не оставляешь другим людям никакого пространства.
– Какого пространства? Кому? Пини?
– Погоди,.. да, и Пини тоже. Но постой, не взрывайся, я хочу что-то объяснить. В своем стремлении к точности – во всем: в поступках, в словах… в бескомпромиссном педантизме… ты всегда оказываешься прав и не оставляешь другим места для мельчайшей ошибки. Но эта правота ни к чему не ведет. Ты упиваешься ею, а люди этого не выносят. Слишком тяжело вечно оказываться виноватым. Невыносимо. Ты душишь окружающих своей правотой. Подавляешь. Жизнь – это не суд. Постоянное моральное превосходство приносит лишь горе и разочарования.
– Ага, замечательно! Значит, мне следует побольше косячить? Чтобы всем стало легче?
– Ты и мне места не оставляешь. Это невыносимо. Я задыхаюсь!
– Да, ты уже объясняла, что я невыносим, – усмехнулся я. – Думаешь, не догадываюсь? Догадываюсь. Что тут нового? А, ну да! Теперь еще и ты. Поздравляю! Наконец-то у нас консенсус. Я и сам себя с трудом выношу.

Что это с ней сегодня?.. “Я задыхаюсь!” Как-то ее заносит. Хотя надо признать, я уже порядком достал ее в последние месяцы. Достал непрекращающимися однообразными жалобами, отчаянием и ненавистью ко всему окружающему. Да и

она раздражала меня, регулярно отстаивая противоположные точки зрения и, что бы я ни говорил, утверждая, что, на самом деле, все хорошо. От этого моя способность понимать и принимать это ее заведомое и безоговорочное “все хорошо” только снижалась. Я спорил и протестовал. Но она отделывалась общими фразами о том, что все мы всего лишь люди, а людям свойственно ошибаться, и тому подобное. Это еще больше выводило меня из равновесия.

– Вот ты на всех злишься. А другим можно злиться на тебя?
– Ну почему, другие тоже…
– Нет-нет, Ян, нет, я не собираюсь затевать спор. Ты злишься, чтобы лишить других права тебя упрекать. И эта злоба трансформируется в ощущение жертвы. А ты не замечаешь подмены и все время стремишься первым обидеться, чтобы занять позицию потерпевшего. Потому что в этой позиции к тебе уже не может быть никаких претензий.
– А… ну я понял: нет никаких жертв. Неудобные факты пропускаем мимо ушей. В истории со Шмуэлем все чин чинарем – в рамках конструктивных рабочих отношений. Верно? Кстати, знаешь, в чем истинная причина насильной записи на курс? Шкурный интерес. Оплата лекционных часов зависит от количества студентов, и там как раз…
– Ян, послушай, я вынуждена признаться – мне все тяжелей и тяжелей. Я уже не знаю, как с тобой разговаривать. Ты оскорбляешься до глубины души, преображаешься в великомученика и скатываешься в обвинения. И тебе кажется, что это можно терпеть до бесконечности. Я не могу с этим согласиться. Не могу и не хочу.
– Рут, как это крайне занимательное наблюдение соотносится с конкретикой – с профессором Басадом? Ты же игнорируешь все, что я говорю, и отделываешься штампами: мол, правда всегда где-то посередине, из чего почему-то следует, что я, и только я, во всем виноват. Зачем? У тебя дурное настроение?
– Дело не в профессоре и уж конечно не в моем настроении, – снисходительно улыбнулась она. – Мы затрагиваем более глобальную тему, а тебе вместо этого важнее опять настоять на своей правоте. Попробуй услышать: я не согласна это больше терпеть.
– Что терпеть?
– Обвинения. Обвинения. Нагромождение обвинений. Люди не способны столько выдержать. И главное, открою тебе тайну – это ты всех оскорбляешь и задеваешь. И меня в том числе. Я больше не согласна жить в мире, где ты жертва, а все всегда во всем виноваты. Мне больше нечего добавить. Ты не берешь ответственность. Не желаешь. Ты уже не ребенок. Чего ты от всех хочешь? Никто тебе ничего не должен. Ничем не обязан. Но ты постоянно пытаешься всех контролировать.
– Контролировать?

– Да, контролировать. Шмуэль тебе не такие вопросы задал, не ту оценку поставил. Это он профессор, а не ты. Пини – то же самое…
– Да не в вопросах дело! Шмуэль ведь обманул меня, просто так – потехи для.
– Я не закончила. Свою подругу ты тоже пытался контролировать. Конечно, она тебя бросила. Кто такое выдержит?
– Это уже ниже пояса.
– Прекрасно, давай, обидься и на меня. Обидься. Надоело постоянно утешать тебя – это лишь усугубляет ситуацию. Настало время взглянуть правде в глаза. Осознать. Да, она ушла именно из-за этой черты твоего характера – контролировать людей из той точки, где ты вечный мученик.
– Погоди, это же разные вещи… Я ведь не шатаюсь по миру, обвиняя всех подряд. И как бы меня ни возмущали требования Шмуэля – я все принял и честно стараюсь исполнять. Но когда прихожу сюда… Я прихожу говорить о своих чувствах. Я могу… или хотя бы пытаюсь понять претензии к моему поведению, но не наскоки на то, как я чувствую. Я имею право на собственное… на мое личное мироощущение. Вот, скажем, мне одиноко – это одно, но даже если меня провоцируют, я не выплескиваю это наружу – это другое.
– Она с тобой снова контактировала?
– Контактировала. Писала.
– Что?
– Предложила поебаться.
– Так и сказала?
– Да, так и написала. Это она… кхм… у меня набралась.
– А ты что?
– Ничего. Не ответил.
– Хочешь об этом поговорить?
– Нет.
– Вот, пожалуйста, опять, – выдержав укоризненную паузу, прокомментировала Рут. – Кстати, ты же говорил, что заблочил ее.
– Заблочил. Еще тогда.
– И как же?..
– Ну,.. там в мобильнике папка “игнор”… Я заглядываю иногда.
– Понятно. Ян, пора прекратить прятаться и поговорить об этом.

Я уперся взглядом в разделяющий нас столик, где услужливо красовалась коробка бумажных салфеток, очевидно, на случай если мне приспичит всплакнуть.

– О чем говорить? – помолчав, буркнул я. – Все кончено. Что мне – новую завести, чтобы мы могли обсуждать твои любимые темы?

– Ладно, это бессмысленно… – Рут недовольно поджала губы. – Пойми, я говорю как есть. Искренне. Я не намерена больше соглашаться с такой позицией.
– Ну и не соглашайся.
– Я пытаюсь найти к тебе пути, но ты постоянно кутаешься в свои обиды, лелеешь их. То, что происходит здесь, между нами, – это то же самое, что ты делаешь в жизни. Ты переносишь на наше общение свои поведенческие шаблоны, и моя задача их выявить. Добиться, чтобы ты понял, каково быть с другой стороны. Кутаться, злиться на весь мир и самого себя – не поможет. Повзрослей. Ты не грудной ребенок. Возьми ответственность.
– Ответственность? Я беру ответственность, ты ж сама говорила, что даже слишком…
– Нет, нет-нет, – она зачем-то звонко рассмеялась, – это совсем другое. Ты берешь ответственность, когда тебе выгодно. Чтобы потом конвертировать ее в контроль над окружающими, в обязанность перед тобой. Но мир так не работает. То, что ты помогал Шмуэлю проверять статьи для журнала или там еще что-то, отнюдь не означает, что он обязан исправить тебе оценку. Отношения между людьми – не валютный обменник. Никто тебе ничего не должен, – Рут помолчала и повторила, раздельно артикулируя: – Никто. Ничего. Не должен. Им тоже можно тебя задевать, ранить, точно так же, как ты ранишь окружающих. Ты тоже не всегда прав. Ты тоже обижаешь и ранишь.
– Мм… Вау…
– Да! Вау! Правильно. Это именно то, что я чувствую в общении с тобой.
– Что?
– “Вау!” – каждый раз ты злишься и обвиняешь. Кто может это выдержать?!
– Но… я так устроен. Что поделать?! Такой вот скверный пациент тебе попался. Уж прости…
– Ян, я не готова и дальше быть твоей грушей для битья!
– Грушей для битья?
– Да, грушей. Очнись! Ты не осознаешь свои поступки.
– Рут, я говорю о внутренних ощущениях! Где тут агрессия в твою сторону?
– Ну и что с того, что о внутренних?! Разве я обязана принимать любое внутреннее ощущение?! Нет, не обязана. Ты порой просто невыносим. Ты видишь только себя и то, как и кто перед тобой провинился.
– Исповедь превратилась в проповедь, потом в… как его… в отповедь, а затем в яростный разнос, – бросил я в никуда.
– Этот трюк не пройдет. Даже не пытайся. Вокруг тебя люди, у них своя жизнь, свои сложности и (представь себе!) тоже внутренние ощущения, а ты помнишь лишь о себе.
– Ну, знаешь… у нас тут не мыльная опера, где триста тысяч действующих лиц. Мы говорим о том, что творится со мной.

– Вот и я – о том, что с тобой творится. Я больше не согласна. Отказываюсь воспринимать тебя жертвой. Хочешь, чтобы я помогла, – прекращай.
– Я рассказываю о том, что чувствую, – механически повторил я.
– Я тоже рассказываю о том, что чувствую. Потому что это лучший способ выбить тебя из этого места. Хватит! Достаточно!
– Из какого места? Из этого кабинета? Из твоей практики?
– Нет, не из практики.
– Так это звучит.
– Ну и что, что тебе так звучит?! Это не то, что я имею в виду. Таков мой способ сдвинуть тебя с мертвой точки. Точки, где ты вечно самый несчастный. Я не готова, чтоб ты и тут был несчастным.
– Не готова – так не готова. Могу не говорить, но если…
– Нет,..
– Секунду, сейчас я. …Но если я не имею права об этом говорить, мне не вполне ясно, что я тут делаю. Там, снаружи, – я махнул рукой в сторону окна, – когда меня задевают и ранят, я хорохорюсь, пока хватает сил. Но тут-то я не должен?.. Или тоже должен?
– Не должен. Но и в траурных ритуалах у мавзолеев былых обид я участвовать не намерена.
– Рут, ты все твердишь, что нужно принимать… эм-м… понимать других, прощать, смиряться. Но сколько можно? Я устал выгибаться, сгибаться, прогибаться до полного забвения собственного… естества, до превращения в послушную бесформенную глину, чтобы из меня можно было лепить что угодно. Я уже не понимаю, как в этой академической среде сохранить хотя бы видимость собственного достоинства…
– Хватит баррикадироваться уязвленностью! Я пыталась всеми способами принять эту жертвенность, утешить. Но это нас не продвигает. Все что я пробовала… все методы – не задевать твои чувства, проявлять понимание, разбираться, откуда берутся такие бескомпромиссные суждения. Все попытки провалились.
– Сомневаюсь, что этот твой новый подход сработает.
– Конечно не сработает, потому что ты ни черта не слышишь. В моей терапии… в моей практике я не коллекционирую и не консервирую жертв. Вылезай из ямы и начинай ответственно строить жизнь. Таков мой новый подход. Не хочу больше быть виноватой. Злись сколько влезет. Теперь-то у тебя есть повод. Давай! Злись! Все, что я делаю, – не помогает. Так зачем сюда ходить, тратить время и деньги? Раз я не могу вытащить тебя из состояния жертвенности, то хотя бы не буду этому потакать. Не буду принимать участие. На меня ты злишься, на Шмуэля – злишься, на Пини – уже десять лет… на Ма́ксима, на бывшую…

Она то взывала, то обличала, и к концу, судя по тону, перешла к чему-то более примирительному. Ей, видите ли, непременно нужно закончить сессию на мажорной ноте. Порой мне кажется, что она готова городить что попало, лишь бы свести все к этому пресловутому позитиву. Она говорила и говорила, а я машинально отбрыкивался, но почти ничего не слышал и толком не запомнил конца встречи. Такое со мной не редкость. После того, как меня задевают за живое, я еще некоторое время способен сохранять видимость осмысленности, но уже ничего не воспринимаю и не соображаю.

Молекулы

В детстве я умел видеть молекулы.

На самом деле, это не сложно. Стоит задаться целью, уделить немного времени, и молекулы сможет увидеть каждый.

Если сощурить глаза так, чтобы ресницы сложились в неплотную сетку, на фоне яркой светлой поверхности, а еще лучше – ясного неба, возникают почти прозрачные пятнышки неправильной формы. По краям матовая кромка. Они двигаются, то медленно и плавно, то рывками. В детстве этим калейдоскопом причудливых перемещений легко увлечься. Замираешь и вглядываешься, вглядываешься, неотрывно отслеживаешь их часами.

В не слишком пасмурный день можно смотреть против солнца – не прямо, чуть в сторону. Вряд ли вы все бросите и приметесь упражняться в высоком искусстве видения молекул, но если все же, – пожалуйста, не надо таращиться в упор на яркое солнце. Если долго смотреть на солнце, можно ослепнуть. И будет уже совсем не до молекул.

То, что это и есть молекулы, я понял сразу, как только услышал о них на школьных уроках. Помнится, еще поражался: что значит в таком-то году ученые “открыли молекулы”?! Как это “открыли”? Вот же они! Им что – раньше было лень нормально сощуриться?

Странно, – думал я, – куда ни ткни – молекулы. А никто внимания не обращает. Разве что какие-то ученые… да и то… может, врут они все? Поди разбери, что они видят, чего – нет… раз они веками ухитрялись их не замечать.

Однако оставим в покое ученых. Тем более, не встречал я в детстве никаких настоящих ученых. Они были для меня примерно из той же категории, как Гэндальф и Волшебник Изумрудного города.

Потом, много позже, я где-то вычитал, что те маленькие полупрозрачные пятна, которыми мне доводилось любоваться часами, – просто сгустки белых кровяных телец в капиллярах глазных яблок.

А тогда – в детстве – я довольно быстро догадался, что другие вокруг себя никаких молекул не наблюдают. И хоть не вполне понимал, как им это удается, из деликатности держал в тайне свое умение.

К чему зря смущать и расстраивать окружающих?

Задумываться о том, почему, в отличие от них, я умею видеть молекулы, мне в голову как-то не приходило. Я вообще видел многое, чего остальные явно не замечали или не желали замечать.

Да что там: если уж совсем начистоту, я и сейчас вижу. И молекулы в том числе.

Может, это и есть самое важное?

Изгнание из рая

Как ни печально, все когда-то кончается. И с этим, по утверждению Рут, необходимо смиряться. “Повзрослей!” – твердит она. А мне это претит, не понимаю, что тут такого уж хорошего. На это Рут еще в самом начале – лет пять назад – заявила, что Питеры Пэны в нашем мире не выживают. Однако, как видите, я пока жив и продолжаю упорствовать, так сказать, коснеть во грехе.

С возрастом люди все больше принимают и соглашаются. Пропадают сомнения, отпадают (хочется избежать этого обесценившегося в нынешнее прагматичное время слова) экзистенциальные вопросы, остаются только бытовые. А все бытовые вопросы в конечном счете сводятся к одному: “Где и как урвать побольше денег?”

Рассуждать на такие темы пошло, скучно и бессмысленно. Поэтому вернемся к тесно связанной с процессом взросления трансформации личности.

Излишняя озабоченность материальным достатком – мнимой панацеей от всех жизненных невзгод – на деле приводит к обрастанию коростой апатии, показного самодовольства и безразличия ко всем иным аспектам бытия. Этот процесс называется у таких особей “взрослением”. По его завершении этакий, с позволения сказать, индивидуум получает право именовать себя “состоявшимся человеком”.

В чем, собственно, заключается эта взрослость и состоятельность? В том, что человек душевно и умственно окостенел? Проложил рельсы и теперь способен ездить исключительно по проторенной колее? Не есть ли пресловутая состоятельность просто завуалированная лень ума?

Мне даже кажется уместным ввести такой термин – Леньума. Уж больно распространенное явление. По моему субъективному мнению, когда кто-то таким образом состоялся, – можно преспокойно транспортировать его на заслуженный отдых в специальное хранилище для состоявшихся человеков.

После еще свежей в памяти психоаналитической сессии мысли то и дело соскальзывали к продолжению нескончаемого спора. Я тщетно пытался оправдаться перед образом Рут в моей голове и опровергнуть хотя бы часть из так задевших меня упреков. Городил новые и новые аргументы, временами теряя ощущение, где именно проходит грань рассудочности и трезвости мышления.

“Состоявшийся человек” соглашается на бессмысленные, и порой даже вредные, локальные социальные конвенции, уклад, традиции. При переезде из одной страны в другую это особенно бросается в глаза. Там – один менталитет, одна шкала ценностей, и все свято верят в их абсолютную истинность. Тут – другие, и верят в них так же истово и безоглядно.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ценности и мировоззрение меняются при простом географическом перемещении. Час-другой на самолете – и то, что было дорого и свято, уже незначительно или вовсе несуразно. И “состоявшийся человек” не рыпается. Он и с прежним соглашался, и новому подпевает. Потому что перечить социуму коммерчески неоправданно, а протест – зачастую наказуем.

Особенно печально смотреть на тех иммигрантов, которых больше всего заботит побыстрее мимикрировать под местных. Да и дело не в одних иммигрантах, это повальное явление – чутко следить за тем, куда в данный момент в данном месте дует ветер, и всеми силами стараться соответствовать. Сейчас я имею сомнительное удовольствие наблюдать попытки “взросления” Тревожного Магистранта. Ох, как бедный тужится. Все не терпится ему “состояться”, чтобы одобрили, поощрили. Сказали бы: “Ты молодец, ты наш!” И погладили бы по головке.

Впрочем, я снова увлекся замаскированными под рассуждения оправданиями. К счастью, хоть на этот раз можно сослаться на Рут, и не обязательно валить все на никак не причастного Аствацатурова или очень даже причастного, но не именно к этому, Господина Редактора.

Итак, кончилась зима, больше похожая на осень, но без пестрого листопада, которого в Израиле нет и осенью. Вступала в права ранняя весна, похожая на нашу бесснежную зиму, похожую на осень. Точно так же моросил дождь, и тучи нехотя тянулись по такому же, как зимой, низкому небу.

Шмуэль оставался точно так же недоволен всем, что я делаю. Впрочем, нет, не совсем так же. После повторно заваленного экзамена я впал в еще большую немилость и был причислен к разряду кадров второго сорта, где уже давненько прозябал Тревожный Магистрант.

Крайне удобно у Шмуэля получалось. Два перспективных кадра: Заправский Ученый и Телохранитель премьер-министра. И два оболтуса: я да Тревожный Магистрант. Его – Тревожного – тут же обуяло чувство братства по признаку

неудачливости и общности горькой долюшки. Он начал ко мне тянуться. Вяло ныл, доверительно сетовал, скулил, квохтал. Магистранта было жалко, но к жалости примешивалась досада, потому что таким людям не помочь: их не переделать, их даже невозможно надолго утешить. К тому же я быстро уставал от его вечной подавленности и заискивающего подхалимства.

С каждой неделей Шмуэль все больше утверждался в собственной правоте относительно моей никчемности. Этот эффект достигался посредством комбинации трех незатейливых приемов. Прием номер раз: непомерные требования – широкое поле для разгула фантазии. Можно, скажем, так: нагрянуть в четверг перед уходом, нагромоздить заданий дней на десять и потребовать отчитаться о результатах утром воскресенья. И заботливо прибавить: “Только, прошу, ни в коем случае не работай в субботу”. Он всегда так говорит, заваливая работой на выходные. В иудаизме это грех – запрещается не только самому работать, но и других евреев заставлять. Вот он и стремится снять с себя ответственность такими сомнительными словесными ухищрениями.

Прием два: получение наглядного подтверждения собственной пророческой правоты. В воскресенье профессор Басад с удовольствием убеждается, что я не справился, хоть и работал все выходные напролет, о чем, само собой, упоминать не следует, чтобы не оскорбить его религиозные чувства. Приходится помалкивать в тряпочку.

Прием три: разнос или праведный гнев. Любимейшая часть – ради нее, собственно, все и затевается. Тут профессор Басад всякий раз поражает изобретательностью, со смаком читая длиннющие нотации. Как-то он выдал такое: “У тебя же пятнадцать лет опыта! Пятнадцать! Задумайся! А результаты? Результаты-то где?!” Я порывался оправдаться, дескать, да… ну, не пятнадцать, а десять, но не в нанотехнологиях, а в совсем иной сфере. Нельзя же преобразовать знания в компьютерном моделировании и вычислительных симуляциях в практические навыки химии и нанофизики. Но куда там… На время разноса я лишаюсь права слова, чтобы не мешать ему наслаждаться.

Однако в последние дни все кардинально переменилось. Получив возможность заниматься любимой темой, я с головой ушел в проект. Загорелся, круглосуточно работал, решив воплотить давние задумки, от которых отмахивались в коммерческих фирмах. Выходило здорово. Я, со свойственной мне скромностью, назвал свою модель URA – Ultimate Reconstruction Algorithm[46]. Довольно быстро из

[46] Ultimate Reconstruction Algorithm (англ.) – дословно: ультимативный реконструкционный алгоритм, или – идеальный алгоритм реконструкции.

“УРА” стало получаться что-то настолько элегантное и эффективное, что точность вычислений значительно превышала теоретический предел. Естественно, я заподозрил неладное. Долго ломал голову, продолжая совершенствовать код и математические модели, и в итоге доискался-таки до истоков и даже вывел новую формулу для оценки предела эксплуатационных качеств алгоритмов томографической реконструкции.

За день до сдачи, окрыленный ошеломительными результатами, я заглянул к профессору Басаду поделиться радостными новостями и восторгом по их поводу.

– Это будет даже круче, чем в той компании! – выпалил я с порога. – Гораздо, гораздо круче!

Шмуэль выпучил глаза, побагровел, словно маринованный помидор, и, прервав меня на полуслове, разразился воплем негодования:

– Что ты выдумываешь? – орал он. – Я такого не говорил! Я не требовал подделывать чужой продукт. Это незаконно! Ты что?! Речь идет о коммерческой фирме! Об интеллектуальной собственности! Хочешь, чтобы меня отдали под суд?!

Я попытался вклиниться и пояснить, что ничего не подделывал и не крал чужую технологию. Она, собственно, нам и не слишком подходила. А потом получилось нечто настолько непредвиденное, что весь проект развился в совсем другом направлении. И предел эксплуатационных качеств, и новая теоретическая формула… Но, впав в истерическое состояние, профессор Басад был уже невменяем.

– Ты прослушал вводный курс и должен был не сляпать какую-то отсебятину, а реализовать один из пройденных базовых методов, – пунцовея, хрипел он. – Ты завалил два экзамена! Два! Не один, а два! – профессор Басад вскочил с несвойственной ему прытью. – Ты что тут устраиваешь? Я никому, никому не даю возможности исправить оценку после переэкзаменовки! С тобой училась студентка, недотянула три балла, завалила. У нее последний предмет до диплома. Сидела тут, плакала. Ей придется остаться еще на целый год! Но я не дал ей эти баллы. Потому что я профессор! Я обязан быть беспристрастен! Это долг! Больше, чем долг!

Вот чмо, нашел чем гордиться! Совершив такую подлость, лучше бы держал язык за зубами. На три балла из ста пожмотился! Это же условность… Как можно оценить знания материала с точностью до нескольких сотых? – поражался я. Тем

временем Шмуэль, брызжа томатным рассолом, продолжал живописать свой триумф над бедной девушкой.

– И чем ты лучше? С какой стати я должен делать для тебя исключения?! – окончательно выбившись из сил, взвизгнул он и рухнул в кресло. И потом, огладив бороду, веско присовокупил, явно цитируя из Торы: – “В доме твоем да не будет двоякая ефа, большая и меньшая”.

What the fuck is “ефа”, я не понял. На всю эту замшелую мудрость глубокой древности, которой непрестанно сорил Шмуэль, у меня уже давно развилась аллергия. Да и на фоне происходящего какая-то “ефа”[47] казалось сущей мелочью.

– Кхм… – отмалчиваться надоело, а терять все равно было уже нечего. – Ну, студентка, наверняка, сама выбрала ваш предмет, а меня вы заставили, и отнюдь не из академических соображений. Ваш предмет не обязательный. Кроме меня, во всем институте нет ни одного студента, которого насильно записали…
– Что?! – вспетушился профессор Басад. – Я и так ради тебя сделал непозволительное исключение! Поступился принципами! Дал возможность исправить отметку!.. И все это только ради…
– Почему же только ради меня? Я нужен вам как ассистент в следующем году. В вашем распоряжении не сто, а всего два аспиранта, и если вашими стараниями у меня отберут стипендию… – я попробовал было остановиться, чтобы не ляпнуть уж совсем лишнего, но не смог: – Я что? За спасибо работать буду? Которого я, кстати, давно не слышал. Или мне следует утешиться мыслью, что вам повысили преподавательский оклад из-за одного лишнего…
– Как ты смеешь?! Я профессор!.. А ты… – захлебнулся Шмуэль. – А ты дерзить! Ты что себе позволяешь? Да ты…

Он опять вскочил, и началось новое извержение. Его трясло. Меня, наоборот, сковала холодная злоба. Я стоял и не мог поверить, что вся моя работа, все старания вот-вот будут вышвырнуты в мусорное ведро.

Как, интересно, с этой ситуацией сопоставимы упреки Рут? Ее красивые лозунги о том, что нужно понимать и принимать, что правда всегда где-то посередине, и на каждом лежит доля ответственности… Это, бесспорно, верно, но только в более или менее равноправных отношениях. А в академической среде, где вся сила сосредоточена в загребущих лапах научного руководителя… “О какой правде, середине или доле может идти речь?” – в отстраненном оцепенении думал я, наблюдая этот спектакль. Ну, допустим, можно было удержаться от реплик про

[47] Ефа (эфа) – библейская мера сыпучих и жидких тел равная 24.883 л.

спасибо и про оклад, но он же все равно завалит меня в третий раз. Завалит и навечно загонит в лабораторию.

– Ибо сказано в Священном Писании: “Наставь юношу при начале пути его…” – вдохновенно провозгласил профессор Басад.

Нашел себе “юношу” да еще и в “начале пути”… И что теперь? Опять лабораторная поденщина? Опять цедить ненавистные наночастицы в пробирки? К тому же в новом статусе аспиранта-недотепы… А в понимании моего психоаналитика, я должен это свинство беспрекословно и благодарно принять? Опять со всем смириться?

Тут раздался стук в дверь. Шмуэль раздраженно отозвался. Вплыла немолодая тучная особа в аляповатом парике, какие носят религиозные женщины, чтобы скрыть от чужих глаз свои волосы. Профессор Басад сразу обмяк, осел в кресло, поправил и примял кипу поплотнее к макушке.

– Моя жена, – бросил он. И продолжил, обращаясь к ней: – Мы уже все. Закончили.

И сделал в мою сторону жест, каким отсылали лакеев. Еще находясь в оцепенении, я не сразу осознал, что меня вместе с моим “УРА” – пиком моих профессиональных достижений, который вдобавок мог оказаться действительно полезным в нашей лаборатории, – банально выпроваживают. Шмуэль раздраженно покосился в мою сторону и несколько раз повторил свой пренебрежительный жест.

Вернувшись в комнату, где не было никого, кроме Тревожного Магистранта, я постоял, стиснув зубы, развернулся и врезал кулаком в гипсовую перегородку. Податливый материал хрустнул, и четко отпечатались вмятины от костяшек пальцев. Тревожный дернулся, вскочил, подбежал и испуганно уставился на вмятины.

– Почему? Зачем?! Ты что?.. Что ты делаешь? – заголосил недосостоявшийся человек. – Меня же накажут! Я не виноват! Как я теперь оправдаюсь?!

Я с трудом подавил позыв двинуть заодно и по его перекошенной роже с раззявленным в ужасе ртом. Послал его куда подальше и уехал домой.

* * *

По пути решаю напиться. Захожу в ларек, там русский мужик лет шестидесяти терзает продавца: мол, зажигалки нельзя перезаправить. Мне бы его проблемы, – злобно усмехнулся я, выбирая бутылку. Выбрал. Стою. Жду.

Продавец приносит газовый баллончик и заправляет несколько разных зажигалок, объясняет, показывает, как делать. Мужик мрачнеет с каждым успешным наполнением, отпускает скептические замечания, все равно не верит и требует выдать ему новую. Продавец отворачивается к полкам, мужик косится на меня и заговорщически сообщает:

– Ты им не верь, зажигалки заправить невозможно.
– Вы знаете, – широко улыбаюсь я, – у меня все зажигалки прекра-асно заправляются.
– Перечить старшим?! – каким-то воинственным движением он подтягивает затрапезные треники чуть ли не до ушей. – Не будешь учиться уму-разуму – Всевышний тебя накажет!

То есть как это “учиться”? Чему учиться-то? Учиться не уметь?! Такой запрос на пару секунд подвешивает мою операционную систему. Выходя, мужик шипит и скрежещет какие-то проклятия, а меня начинает трясти от хохота. Заехав себе бутылкой по колену, я сгибаюсь, потирая ушибленное место и пытаясь удержать равновесие и стеклотару. Плюхаюсь на пол и хохочу. Хохочу и не могу остановиться.

* * *

Проспавшись, я привел мысли в некое подобие порядка, собрал оставшиеся резервы терпимости, несколько раз прокрутил в уме предстоящий разговор со Шмуэлем и записал основные тезисы. Для подтверждения изначального договора о теме проекта распечатал серию электронных писем, где мы обсуждали его подробности. И все же, чтобы избежать конфронтации, заранее решил сделать упор не на выяснении, кто из нас прав, а на том, что мой алгоритм вовсе не является имитацией чужого продукта.

Да я и не мог создать такую масштабную модель, как в той фирме, где когда-то работал. Даже не будь всего связанного с интеллектуальной собственностью, а просто из-за нехватки времени. И мне посчастливилось, или на меня снизошло… Так или иначе, родилось завораживающе элегантное решение. И единственное общее с тем продуктом было некое глобальное понимание природы

томографических реконструкций – материя слишком абстрактная, чтобы могла идти речь о какой-либо собственности.

Всю дорогу до факультета я репетировал воззвание к разуму и милосердию моего научного руководителя, придирчиво вслушивался в интонации, смягчая и оттачивая формулировки. У двери кабинета мельком просмотрел листок с тезисами, скороговоркой повторил ключевые моменты и постучался.

– Проект отменен, – отрезал Шмуэль, как только я вошел. – Ставлю тебе неуд. На кафедре разбирайся сам, меня не ввязывай.

Подписав соответствующий бланк, профессор Басад велел мне сесть и с неторопливой обстоятельностью зачитал новые правила работы, сводящиеся к тому, что отныне все мои действия будут регламентироваться еще более строго. Затем, так и не позволив мне ввернуть ни единого слова, вручил листок с заповедями моего дальнейшего существования и распорядился проследовать в лабораторию.

В верхнем правом углу над мелко набранным сводом правил нахально красовалось “с Божьей помощью”.

* * *

Пинок под зад и, главное, отторжение моего “УРА” взбесили меня до крайности. Не то чтобы мое терпение лопнуло: все, что могло лопнуть, лопнуло уже давно. Назревавшее, набухавшее, гонимое, но само собой напрашивающееся желание кристаллизовалось в решение и решимость.

Я подвел итог. В изначальном поиске профессора я брал за основу три критерия: область исследований, отношения с научным руководителем и рабочую атмосферу – взаимоотношения с коллегами.

Первым пришлось почти сразу поступиться ради второго, но и это второе со временем изгадилось. Да и атмосфера была не безоблачной, учитывая учащающиеся закидоны Тревожного Магистранта и непонятную выходку Телохранителя. Зачем ему понадобилось лезть ко мне с ложной подсказкой на тему второго экзамена, я так и не понял, хоть и не держал на Телохранителя зла.

Однако, оставляя в стороне изъяны рабочей атмосферы, в сухом остатке имелось следующее: пять-шесть лет заниматься научным исследованием в насильно

навязанной и абсолютно неинтересной области, с человеком, который регулярно вытирает об меня ноги, канифоля мозги своими религиозными бреднями, – к этому ли я стремился?

Ответ был четок и ясен: нет, не к этому.

Пора было менять научного руководителя, и там с условно чистого листа (неуд и проблемы со стипендией ведь никуда не денутся) упражняться в толерантности, всепрощении и мире во всем мире, столь дорогих сердцу моего психоаналитика.

В таком случае следовало бы согласиться на новые условия работы и, продолжая получать аспирантскую стипендию, втихаря подыскивать другого руководителя. И только потом, заручившись его поддержкой, распрощаться с профессором Басадом.

Но не хотелось юлить, проделывать такие маневры за спиной Шмуэля и тратить средства из исследовательского бюджета. Нет, не то что не хотелось – было противно, и я заранее знал, что не смогу пойти на такое хотя бы из брезгливости. Куда честнее – объясниться, взять академический отпуск и заниматься поисками за свой счет и с чистой совестью.

Разговор прошел на удивление гладко. Догадываюсь, к этому моменту я тоже порядком достал профессора Басада, и он был рад в скором времени от меня избавиться. А пока от меня требовалось досдать в авральном порядке хвосты, завершить текущие серии опытов и составить подробную документацию всего сделанного с начала аспирантуры. Так как объем работы получался изрядный, профессор Басад гарантировал продление стипендии на этот период.

Единственное, что тревожило профессора Басада, – это под каким соусом преподать нашу размолвку на кафедре. Шмуэль сокрушался, как такой поворот будет выглядеть в свете того, что в годичном отчете он оценил мой прогресс в исследованиях на отлично и ходатайствовал о моем выдвижении на соискание стипендии Азриэли.

Признаюсь, эта боязнь собственной тени – его озабоченность видимостью в чьих-то глазах – не слишком трогала. Я-то терял нечто гораздо большее – год усилий, все связанные с ними планы и надежды вылетали в трубу. Мне предстоял уход в полную неизвестность, и я еще не успел толком освоиться со стремительно надвигающейся новой реальностью.

Мы сошлись на том, что он мотивирует все личной несовместимостью. Я согласился и оставил конечные формулировки на его усмотрение. На том и порешили – в целом мирно, красиво и вполне порядочно – пока я продолжаю работать, а формальности смены научного руководителя улажу ближе к делу.

* * *

Спустя недели полторы после этого разговора из ректората пришло следующее письмо:

Технион – Технологический институт Израиля

Дата: 14.05.2019

Тема: Прекращение обучения в аспирантуре

Ув. г-н Росс!

Согласно уведомлению Вашего научного руководителя, с глубоким сожалением извещаю Вас о прекращении Вашего обучения в аспирантуре.

С уважением, профессор такой-то такой-то,
Ректор Техниона – Технологического института Израиля.

На этом стандартная форма заканчивалась, и Ректор вывел уже от руки – почтил, так сказать, личным вниманием:

В связи с тем, что вы дважды не окончили начатые вами докторские степени, и в соответствии с законами нашего учебного заведения, вы не сможете еще раз подать свою кандидатуру на соискание степени доктора наук в Технионе.

Эпилог

Промелькнула весна, почти не замеченная мной на фоне последних событий. Отшумели редкие майские дожди. Настало жаркое, засушливое лето. В отличие от погодных условий, я, наоборот, остывал, понемногу сживаясь с мыслью, что с мечтой о докторской степени придется расстаться. Для поддержания тонуса и чтобы не пасть духом, поперек ректорского письма я косо вывел большими красными буквами “Уведомление об изгнании из рая” и повесил под стекло в сервант, доставшийся от прежних хозяев.

Впрочем, изгнание произошло не в одночасье. Прежде я должен был выполнить ряд требований профессора Басада, к концу потерявшего терпение и зачем-то начавшего строчить жалобы на кафедру, в деканат, в ректорат и еще черт знает куда. Я даже толком не понимал, кем являются половина людей, которых он добавлял в эту переписку.

Озвученные на разные лады, вздорные претензии сводились к следующему – кончается срок, а от тебя ни слуху не духу! После достопамятного разговора о “мирном” и “порядочном” расставании, вследствие которого меня безвозвратно вышвырнули из аспирантуры, я не хотел ни видеться, ни говорить с профессором Басадом, и уж тем более не намеревался пресмыкаться перед ним, отчитываясь о продвижении. Никакие промежуточные отчеты в наш договор не входили, в чем могли убедиться все заинтересованные, так как я прикрепил его к первому же ответу, подчеркнув, что с моей стороны все условия будут соблюдены.

Однако Шмуэль не унимался, и я стал реагировать однообразно – все идет по плану, я работаю и управлюсь вовремя, как и было обещано. Я был еще так взбешен, что боялся прилюдно сорваться, позволив вовлечь себя в спор об этих высосанных из пальца обвинениях, и полагал, что когда добросовестно выполню свои обязательства, все встанет на свои места – меня услышат и поймут.

Несмотря на унизительность ситуации, я еще зависел от профессора Басада и, как бы мне того ни хотелось, не мог послать его вместе с его требованиями куда подальше. Во-первых, надо было на что-то жить. Во-вторых, вопрос ретроактивного возврата стипендии оставался открытым. И в-главных – я все еще надеялся добиться пересмотра ректорского решения и вернуться в аспирантуру, найдя нового научного руководителя. А для этого было необходимо доказать всем, и в

частности Ректору – свидетелю нашей переписки, – что когда дело доходит до дела, моя работа безупречна при любых обстоятельствах.

В итоге я исправно сдал все без опозданий, и вдобавок присовокупил три полноценных модели сверх требуемого, но и тут Шмуэль нашел, к чему придраться. Он выискал в добавочных алгоритмах мелкие изъяны и раздул их до слоновьих масштабов. В действительности это были даже не изъяны, а неверно понятые им нюансы программного кода. Не в этом суть, тут важно другое – ему нужен был повод, и он его нашел.

Возобновив дурацкую переписку с кучей незнакомых мне лиц, он представил эти "изъяны" как доказательство того, что я не уложился в сроки, и в наказание выдвинул новые требования. Мои напоминания о том, что спорные части не входили в изначальный договор, что они сделаны по собственной инициативе и из добрых намерений, и вообще нет в них никаких изъянов, что несложно понять из специально составленных мной инструкций, – дружно проигнорировали, как Шмуэль, так и все остальные.

Я был заведомо неправ. Приговор вынесен, обжалованию не подлежит. Оставалось выдоить из меня, что еще можно было выдоить из такого недотепы, и привести вердикт в исполнение. Прежде мне не раз доводилось иметь дело с различными бюрократическими инстанциями Техниона, которые, как правило, были склонны идти навстречу студентам, и тем более – аспирантам, поэтому происходящее казалось вдвойне странным.

Теряясь в догадках, я смог найти лишь две возможных причины столь негативного отношения. Первое подозрение пало, естественно, на профессора Басада. Я пытался восстановить в уме последний разговор, в котором Шмуэль сокрушался, что наша размолвка скверно смотрится в свете моих хороших оценок за продвижение в исследовании и чертовой стипендии Азриэли. Что-то он такое молол о боязни показаться непоследовательным… В тот момент было не до того, я толком не вник и оставил Шмуэлю возможность самому известить кафедру. Интересно, что же такое он им наплел и насколько сгустил краски, понадежней сваливая вину на меня. Не воспользовался ли он удобным случаем на прощание вытереть об меня ноги, чтобы сохранить лицо перед коллегами?

Но еще менее понятно – почему и зачем он так поспешил от меня избавиться? Зачем нарушил наш договор? Почему не боялся лишиться документации всей проделанной мной работы? Без нее никто бы не разобрался ни в моих опытах, ни

в их результатах. Он же мог бы с тем же успехом пожаловаться Ректору и выгнать меня, предварительно получив все, что ему нужно.

Рассчитывал, что я не смогу сразу найти работу, и без его стипендии мне не обойтись? Или в случае неповиновения пригрозил бы требованием вернуть стипендию за весь период аспирантуры? Стипендия за целый год – веский аргумент. А связи в ректорате у него, по видимости, имелись, и это не составило бы ему особого труда… а то и доставило бы удовольствие. Или это был просто импульсивный поступок? Очередная придурь? Или… даже не знаю, может, все наоборот, и ему по некой причине было крайне важно преподать эту историю в нужном свете? И он опасался, что я найду нового научного руководителя, и мы обстряпаем все без него? Неспроста же профессор Басад заранее так убивался, кто и что о нем подумает, и как будет выглядеть мой уход… Неужели лишь затем, чтобы инициатива исходила от него?! И он имел бы возможность представить все в выгодном для себя ракурсе?

Но толком о мотивах и соображениях профессора Басада я ничего не знал. Мог всего-навсего строить догадки, и каждая новая – была отвратительней предыдущей.

Другим возможным виновником был сам Ректор. Кстати, именно он и избрал меня представителем Техниона на эту пресловутую стипендию. Вероятно, это тоже подлило масло в огонь, если, конечно, он помнит меня и свой тогдашний выбор.

В поисках справедливости я долго не мог угомониться, однако попытки достучаться до Ректора не увенчались успехом. Меня часами томили в приемной, после чего ректорская секретарша, прозванная мной “Госпожа Инквизиция”, читала нравоучения о том, что негоже перечить научному руководителю, и уж тем более – самому ректору Техниона. Закончив очередной выговор, она с чувством выполненного долга выпроваживала меня восвояси.

Мучительные ожидания, письма, прошения… Впрочем, вы, несомненно, знакомы с утонченным и узаконенным садизмом бюрократии. Кроме того, на эту тему прекрасно высказался Кафка. И у меня наверняка так не получится.

Следует отдать дань прямоте этой отпетой садистки – она изначально объявила, что теперь у меня нет никаких, вообще никаких прав. И они (чувствовалось, что ее подмывало сослаться исключительно на себя) могут делать со мной все, что им (то есть ей) заблагорассудится. Произнеся эту тираду, она выдержала паузу, томно потеребила вычурные золотые украшения накладными когтями и

поинтересовалась, в полной ли мере я осознаю свое положение. Как выяснялось, свое положение я осознал не сразу, и она, не жалея сил, продолжала ставить меня на место.

В выдворении меня из рая было еще множество омерзительных этапов, в том числе – аннулирование стипендии, обещанной за дополнительные доработки. Обосновывалось это теми самыми взбалмошными претензиями к сделанному мною сверх требуемого. Как только я закончил, Ректор состряпал еще одно гнусненькое письмецо, где разнес меня в пух и прах, и отменил причитающуюся мне оплату.

С другой стороны, институт не предпринял попыток настоять на возвращении стипендии за прошлые месяцы аспирантуры, к чему я морально готовился, заранее решив на этот раз без боя не уступать.

Я был настолько оскорблен, что даже хотел, чтобы они попробовали. Затаился и ждал. Рисовал в уме картины, как в ответ выложу им все художества профессора Басада: начиная с антисанитарии в лаборатории и токсичности наночастиц, которыми он травит аспирантов, скупясь на приобретение защитного оборудования; и кончая его враньем, подробно задокументированным в нашей электронной переписке, венцом которого, разумеется, являлось требование подделать чужой коммерческий продукт.

И на десерт, если вышеперечисленное не станет им поперек горла, я намеревался скормить им пикантную историю о том, как профессор передового технологического института – гордости и красы государства – орет на аспиранта “еврей ты или не еврей” за то, что тот посмел заикнуться, что праздновал Новый год. Который уже лет десять назад узаконен в Израиле как общинный праздник, так и называющийся – “Новый год”.

И наш премьер-министр, в лучших традициях и разве что не бухой, в полночь толкает поздравительные речи. Этот фрукт – наш премьер – шутит шуточки, потешно коверкая вкрапления русских слов, и разъясняет израильтянам, что теперь праздник следует называть по-русски, а не каким-то заморским именем Сильвестр[48].

---

[48] Прежде праздник назывался на католический манер “Сильвестр” – день святого Сильвестра – в честь Сильвестра первого и Сильвестра второго. Первый, согласно легенде, в 314 году изловил библейское чудище – морского змея Левиафана. Второй считался магом и при этом был Папой Римским как раз в 1000 году, когда должен был наступить конец света, из-за того самого Левиафана, которого уже убил Сильвестр первый, а задолго до этого успешно угрохали еще в Ветхом Завете (Псалтирь, псалом 73:14).

А тут профессор Басад такие номера откалывает. Ой-вей… В сегодняшней социально-политической обстановке этакий пассаж должен смотреться просто прелестно. То есть – чудовищно, как мне и надо. Одного этого наверняка хватит с лихвой, а в совокупности с остальными художествами и подавно всем мало не покажется.

Однако дополнительных претензий или требований со стороны института больше не поступало. Но и аудиенции у Ректора, где можно было бы обсудить мое скоропостижное и безвозвратное изгнание, я так и не дождался. И на этом решил махнуть рукой, прекратить на что-то надеяться и унижаться.

* * *

Перед концом романа тоже необходимо закрыть хвосты, уповая на то, что вы будете более снисходительны ко мне, нежели профессор Басад. Хочется довести до логического завершения несколько открытых тем и расставить точки над некоторыми “и”, хоть в русском языке точки над “и” давно не водятся, да и точки над “е” постепенно выходят из обихода.

Перво-наперво, не скрою, что где-то в глубине души хотелось последовать примеру Теда Стрелецкого из Стэнфорда и навестить с молотком профессора Басада. Продемонстрировать, так сказать, разносторонний спектр применения слесарного инвентаря в целях продвижения науки.[49]

Иронизируя сам с собой на эту тему, я строил разнообразные сценарии изощренной мести. Допустим, прокрасться к Шмуэлю в кабинет и учинить джихад с молотком, но как-то так, чтобы подозрения пали на Пини – моего первого научного руководителя – тоже немало преуспевшего на поприще лишения меня возможности стать доктором наук. Но при таком раскладе Ректор оставался обойденным вниманием, а он ведь тоже потрудился на славу.

Забавляясь подобным образом, я измыслил множество гротескно-комичных схем с этой сладкой троицей, так или иначе хороводящей вокруг слесарного молотка. Однако, хоть у меня и имелся увесистый молоток, и можно было бы пойти по стопам стэнфордского правдоискателя, как вы понимаете, я не грохнул профессора Басада и, естественно, всерьез не планировал.

[49] Господин Редактор опасался, что вышесказанное может быть расценено как угроза или призыв к насилию. Однако как автор, так и герой романа являются противниками физической расправы и применения грубой силы. Пожалуйста, не пробуйте это дома или в вашем учебном заведении.

Молоток-то есть, а вот решимость Теда Стрелецкого – отсутствует. Да и передо мной стояли совсем иные задачи. В конце концов, не затем я шел в аспирантуру, чтобы крушить черепа отдельно взятым религиозным фанатикам. Я-то собирался книги писать, а не наносить профессорам черепно-мозговые травмы. Так что остается выказать признательность Шмуэлю за обильный материал, развязку и все прочее. И лучшей благодарностью будет увековечить его заслуги – как-никак, что написано пером, не вырубишь топором. И тем более – молотком.

Докторская степень должна была открыть мне возможность преподавания в хороших ВУЗах и на достойных условиях. Но не срослось. А раз Графа Монте-Кристо, то бишь доктора наук, из меня не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы. Хотя нет. Какой из меня управдом?.. Зато можно в духе тех советских литераторов, которые писали перпендикулярно линии партии, заделаться каким-нибудь кочегаром… или, скажем, плотником.

Молоток есть. Дело за малым.

*

Далее, как бы это ни было забавно, пора отложить в сторону молоток и прекратить им размахивать. Тем более – впустую. Еще одно навязчивое соображение гложило меня поначалу. Ведь если бы я не корчил из себя рыцаря на белом коне, не затевал свое “поступить по-честному” – заблаговременно объясняться со Шмуэлем, искать нового научного руководителя за свой счет и все вот это… А тихо сидел у профессора Басада, подъедал его бюджет и делал вид, что работаю, тем временем подыскивая другого научного руководителя…

Хотя какие раскаяния? Два раза я уже поступал в аспирантуру, обернулось все полнейшим фиаско. Не по нутру мне слепо подчиняться и пресмыкаться перед вышестоящим. А значит, и не суждено ужиться в академической среде, где над бесправным аспирантом царят всесильные научные руководители, железнолобые ректоры, их прихвостни в роде Госпожи Инквизиции и прочая нечисть.

Однако самое трагичное во всей этой истории – конечно, не моя частная судьба, а то, что подобное обращение с аспирантами отнюдь не является чем-то из ряда вон выходящим. Единственное отличие моих злоключений от многих иных, порой гораздо более жестоких и шокирующих, заключается в том, что я намеревался стать доктором наук, чтобы обрести свободу и писать книжки. И поэтому я мог позволить себе сказать “нет” и уйти. Я даже обязан был так поступить ради этой

самой свободы. Но среди студентов, магистрантов и аспирантов встречаются молодые люди со светлыми головами и с чистыми намерениями, которые идут учиться действительно ради науки. Им не место в индустрии или в бизнесе. Им место там – в академической среде.

И непонятно, почему и как это так, что путь к научным вершинам в современном мире лежит через тупое послушание и готовность безропотно сносить оскорбления? Такие ли качества мы хотим видеть в будущих ученых?

*

Что-то я упускаю… А, вот! Чуть не забыл. Еще один любовно лелеянный мной сценарий, воплощение которого уже никак от меня не зависело. В начале лета должны были быть объявлены лауреаты стипендии Азриэли – той самой стипендии, на которую меня избрали единственным представителем института.

А ВУЗов в Израиле не так много, и Технион один из двух-трех лучших. Плюс, я всерьез вложился, старался на совесть, так что шансы были неплохие. И вот, представьте, стипендию присуждают не кому-нибудь, а именно мне. Поздравительные письма летят на кафедру, на факультет, профессору Басаду, Ректору и всей его камарилье. А речь идет о круглой сумме, львиная доля которой полагается институту. Учитывая вечные проблемы финансирования, дело отнюдь не плевое.

И тут они опомнятся: где же наш лауреат? Ах, да, мы же его выгнали. Упс, промашка вышла. Попытаются схватиться за головы, которых, по всей видимости, у них нет. Перепугаются пуще прежнего. Зашерстят, забегают как тараканы. Стипендия-то мне уже не достанется, а вот поглядеть, как они мечутся, словно ужаленные, уж больно хотелось. Как-то это… эм… недальновидно; может, стоило потерпеть месяц-другой, прибрать денежки и вышвыривать меня после номинации? Или, чем черт не шутит, не вышвыривать, раз такое дело?

*

Пожалуй, хватит о мелочных дрязгах и о тараканах, как академических, так и тех, которые во множестве обитают в моей голове. Оглядываясь назад, думаю, что историю, произошедшую в Израиле, можно было бы изложить в совсем иных декорациях.

Можно было бы писать об ужасах многочисленных войн, о ракетных обстрелах, о сиренах воздушной тревоги, и в периоды затишья терзающих многих ночными кошмарами, о террористах-смертниках, об автобусах, взрывающихся на мирных улицах наших городов, о раненых, о покалеченных и о наших пленных солдатах – девятнадцатилетних, черт подери, пацанах. Либо – о нищете в секторе Газа, о палестинских подростках, становящихся шахидами из юношеского максимализма и под влиянием милитаристской пропаганды, или о тех, кто за ней стоит. О разбитых семьях, о вдовах, об осиротевших детях и с той, и другой стороны… Обо всей этой бессмысленной кровавой бойне, длящейся уже который десяток лет.

Ведь в ореоле насильственной смерти, а еще лучше – множественных смертей, самая незатейливая история приобретает глубину, значительность и емкость. Именно поэтому снимается столько фильмов и сериалов на военные темы, ну или хотя бы об убийствах и о бандитских разборках. Но я не хочу для антуража усеивать эти страницы трупами и наживаться, пусть даже в литературном смысле, на трагедии израильско-палестинского конфликта, где нет ни правых, ни виноватых, – одни пострадавшие. Не хочу использовать в качестве рельефного фона боль и скорбь двух народов, и главное – миллионов людей.

К тому же по существу сказать почти нечего – у меня нет ответов, одни вопросы. Да и совестно играть такими чувствами. Спекулировать слезами и напрасным страданием, ставшими неотъемлемой и, что самое жуткое, привычной частью жизни и в нашей стране, и у наших палестинских соседей.

Я знаю лишь одну банальнейшую штуку: войны прекратятся только тогда, когда мы все, наконец, осознаем, что нет никаких евреев, палестинцев и, простите, русских. Есть люди. И если кому-то так уж неймется воображать, что он русский, еврей или еще какой-то серо-буро-малиновый – на здоровье. Но не следует забывать, что сегодня это условности тридцать пятой степени значимости. В XXI веке перед человечеством стоят действительно важные проблемы, решение которых возможно лишь при общемировом сотрудничестве.[50] И решать их будут те, кто это осознал. Если таковых окажется достаточно, и если у нас, вопреки всем ожиданиям, получится… А те, кто не смогли или не захотели осознавать, продолжат ненавидеть и мочить друг друга ради сомнительной привилегии причислять себя к некой этнической или религиозной группе.

*

[50] О наиболее актуальных проблемах человечества интересно и доходчиво рассказывает Юваль Ной Харари в книгах “Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня” и “21 урок для XXI века”.

И напоследок о “нападках” на религию. Я не ставил целью высмеять иудаизм или иные религии как таковые. В конце концов, каждый вправе выбирать, во что верить и что самому себе рассказывать. Однако сложно не возмутиться, когда религией и сопричастностью к ней пользуются как тараном, бейсбольной битой или рычагом давления.

Например, как инженер лаборатории Ма́ксим, умудряющийся верить одновременно в колхоз и кодекс чести рыцарей Амбера. Смехотворно? Да. Ну и пусть себе! Пусть верит. Никаких претензий или возражений. Но лишь до тех пор, пока он не втягивает меня насильно в свой амберский колхоз, не заковывает в латные доспехи и не нахлобучивает сверху ушанку в нашу сорокаградусную жару.

Или как мужик, проклинающий тех, кто умеет заправлять зажигалки, потому что у него самого не получается. Для него Бог – нечто вроде бандитской “крыши”. Мне видится такой лагерный образ: “Эй вы, фраера, я под Богом! – и пальцы веером, – Кто на меня?!” Или что-то в этом роде…

Или как Шмуэль, использующий заповеди Господни не только в качестве эталона для оценки лабораторных данных, но и в виде универсального инструмента для достижения корыстных целей и оправдания сомнительных средств.

Его технология лжи с чистой совестью выглядит следующим образом: чинно выводим в верхнем правом углу “Басад” или “с Божьей помощью” (как кому нравится), а в конце приписываем “с благословением” или нечто подобное. И… Вуаля! Между этими двумя заклинаниями, как бы спрятавшись за ними, можно врать, кидать, подставлять и вообще творить любые подлости. Это же не он – Шмуэль – самодурствует, так ведь получается? На все Божья воля. А со Шмуэля взятки гладки. Аминь.

Впрочем, не профессор Басад это придумал. Схожие магические ритуалы успешно практикуются многими веками. Но… не пора ли завязывать с такими гнусными фокусами?

* * *

Янтарное лето, за плотно занавешенными окнами раскаленный диск солнца застыл, словно высеченный, в бирюзовом небе. Меня будит резкий звонок. Теперь я могу позволить себе ложиться поздно. Не учусь, не работаю, и в полуденное время меня не тревожат. Машинально нашарив мобильник, сбрасываю вызов и снова засыпаю под мерный шелест кондиционера. Спать днем – отдельное

удовольствие и особая привилегия бездельников и начинающих писателей, что для многих, увы, тождественные понятия.

Снится нечто сумбурное, но тоже светлое и солнечное… Снова звонок. Воздух пахнет горячим песком, выгоревшей травой и пустынной пылью, которая к августу станет невыносимой. А за окном – море, из постели его не видно, но оно там есть.

Может, отключить телефон, заварить кофе и покурить с видом на море? Зачем, собственно, нужен вид на море, если отказывать себе в удовольствии с видом на это море спокойно выпить утренний (или полуденный) кофе?

Щурясь, смотрю на незнакомый номер. Кому же это я мог понадобиться… Впрочем, какая разница? Пожалуй, вздремну еще, потом перезвоню. Я вспоминаю, что до утра шлифовал текст, и все шло так гладко, что-то я там такое забавно завернул… А, вот – про то, как у амберского колхозника Ма́ксима в разгар заседания отваливается башка и, “громыхая пустотами”…

– Да! – рявкаю я в ответ на третий звонок.

Я недовольно кошусь на время. Что за скотство трезвонить в два часа дня?! Я вроде нигде не состою, чтобы вот так, спозаранку, бесцеремонно названивать праздно… Что праздно? …праздно пре-про-во-дя-ще-му время… Спросонья я плохо соображаю, тем более когда меня будят.

– Ян? – женский немолодой голос звучит настороженно.
– Ну да. Ян.

“…Вольному художнику” – наконец нащупывается достойная формулировка для завершения мысли.

– Что за безобразие! – огорошивает меня тетка из сотового пространства. – Молодой человек, вы электронную почту проверяете?
– Какую еще почту?
– Свою. Технионовскую. Аспиранты, да будет вам известно, обязаны регулярно проверять институтскую электронную почту.
– Технионовскую? Но…
– Да-да, технионовскую. Или вы еще в каком-нибудь учебном заведении состоите?

Я осознаю, что происходит нечто выходящее за рамки моего понимания, и решаю благоразумно промолчать.

– Нет? Не состоите? Так вот, ректор института принял решение вас наградить. А вы, подумать только, не удосужились явиться на церемонию! Возмутительно! Где вас носит? За последние две недели выслано уже четыре уведомления. Никакой реакции. Неслыханно! Мы что, за вами гоняться должны?

Я резко встряхиваю головой, так что она у меня самого, как у Ма́ксима, чуть не отваливается, и вдруг безошибочно узнаю голос. Это же Госпожа Инквизиция – ректорская секретарша!

– Простите, наградить? Чем наградить?
– Чем?! – она раздраженно трещит клавиатурой. – Чем наградить? А вы как думаете? Нобелевской премией?! Наградить как лучшего аспиранта этого года. Хотя, будь моя воля, я бы вас за такое… – она снова нещадно клацает мне в ухо. – Идите и самостоятельно ознакомьтесь. Я, к вашему сведению, не нанималась зачитывать почту аспирантам.

Кажется, стоит держать язык за зубами, пока ситуация не прояснилась.

– Он еще спрашивает, чем… – продолжает зудеть она. Сетует на вопиющее что-то там и падение чего-то куда-то, я уже не совсем понимаю, что именно и куда падает, и тут она брякает: – …Я буду вынуждена доложить о сложившейся ситуации вашему научному руководителю!
– Не надо научному руководителю, – опомнившись, выпаливаю я. – Я все понял. Когда прийти?

*

Технион – Технологический институт Израиля

Дата: 03.07.2019

Тема: Награда за выдающиеся достижения

Ув. г-н Росс!

В честь открытия нового отделения Техниона в Китае, представители Техниона получили элитные подарки от фонда LKS. Руководство Техниона приняло решение наградить ими самых лучших аспирантов.

Мы постановили вручить этот изысканный презент – роскошную ручку фирмы MontBlank как утешительный приз выдающимся и лучшим из лучших наших аспирантов, таким, как Вы, соискателям наиболее престижных стипендий, которые, к сожалению, не удостоились наград.

С удовольствием приглашаю Вас в понедельник 8.7.2019 в ректорат для участия в торжественной церемонии.

Дальнейших успехов на научно-исследовательском поприще!

С уважением, профессор такой-то такой-то,
Ректор Техниона – Технологического института Израиля.

* * *

Забегая вперед, так и осталось невыясненным, по какой именно причине Ректор счел, что слово “Montblanc” пишется с буквой “k”. С виду ручка как ручка – ничего сверхъестественного. Вся фишка в названии фирмы. Однако ему с чего-то пригрезилось это “k”. То ли у него, как и у меня, дислексия. То ли Ректор у Шмуэля не учился, – уж тот бы враз отвадил его допускать грамматические ошибки в официальных письмах. То ли, как предположил мой приятель Дорон, и это было бы смешнее всего, Montblank с буквой “k” – это эрзац известной немецкой компании, и ушлый фонд LKS втюхал им под шумок китайские фейки.

“Постановили вручить этот изысканный презент” – ай да молодцы! Как трогательно, аж слезы наворачиваются. Полагаю, это произошло примерно так: китайцы им бабла отвалили и ящик-другой этих ручек в придачу. Вот Ректор и решил облагодетельствовать аспирантов без лишних затрат и дополнительных усилий.

Назавтра после звонка Госпожи Инквизиции по пути в мой родной и горячо любимый институт я перебирал в памяти череду поступков несравненного Ректора. Итак, сначала этот хмырь выбирает меня представителем института, потом вышвыривает, отказываясь встретиться и выслушать мою версию событий, а теперь объявляет лучшим аспирантом. Хотя если вникнуть, раз он меня отчислил, должно быть, я не лучший, и его стараниями уже никакой не аспирант.

– Выбрал, выгнал, наградил! Прям, Юлий, мать его, Цезарь, – злорадно усмехаюсь, выжимая педаль газа. – Или этот, как его… Тарас Бульба выискался. “Я тебя наградил, я тебя и турну”. Это ж надо… “посмертное” награждение.

Воистину, правая рука не ведает, что делает левая. Вообще-то в этой идиоме подразумеваются люди, состоящие в разных отделах одной организации и работающие под общей крышей. Но в нашем случае речь не просто об одном и том же человеке; полагаю, он подписал мое награждение той же рукой, которой пару месяцев назад подписывал мое отлучение.

Полячка Дина, которая, если помните, по образованию психиатр, и знает, о чем говорит, предположила, что у него раздвоение личности. Полушария друг с другом поссорились и теперь не общаются. В конце концов, вряд ли за последние месяцы он выгнал больше одного аспиранта – не так уж огромен институт, и на стипендию Азриэли он выбрал тоже одного меня. И не совсем ясно, как ему это нигде не мешает.

По прибытии я оправил парадную рубашку, сконструировал подобающую мину и торжественно явился в святая святых – кабинет, куда меня так старательно не допускали. Ректора на месте не оказалось, и я не удостоился чести пожать его могучую длань, способную вершить столь немыслимые в своей несовместимости деяния. Футляр с этой гребаной ручкой вручала Госпожа Инквизиция, прошипев при этом нечто угрожающее насчет того, что все же стоило бы пожаловаться моему научному руководителю.

Вернувшись домой, я накатал Ректору очередное письмо. Поблагодарил за ручку, приложил уведомление о моем отчислении, извещение о моем же награждении, и в который раз попросил о встрече. Общий смысл аргументации сводился к следующему: взгляните, пожалуйста, не кажется ли вам, что здесь что-то не так? Может, все же разберемся?

Стоит ли упоминать, что это послание, как и предшествующие, было проигнорировано. Ну, разве что Ректор с досады показательно колесовал Госпожу Инквизицию за попустительство и халатность – в том смысле, что по ее недосмотру, а уж, конечно, никак не по его собственной вине, столь “изысканная” и “роскошная” ручка досталась такому негоднику, как я.

На этом общение с институтом закончилось. Не дождавшись ответа, я водрузил футляр с ручкой Montblanc – квинтэссенцией вселенского абсурда, венцом череды моих блестящих неудач – в сервант, где он обрел достойное место под уведомлением об изгнании из рая.

*

Доктором наук, по видимости, мне уже не стать. Зато теперь у меня есть ручка, самая сюрреалистичная ручка на свете. Она покоится за стеклом серванта, внутри кожаного футляра с элегантным тиснением золотых иероглифов, и терпеливо ждет своего часа. Этим пером я намерен ставить автографы на моих будущих литературных шедеврах.

Остаются сущие пустяки: научиться творить шедевры да разобраться, как подписывать электронные книги насквозь материальным письменным прибором. Хотя, должно быть, для столь диковинного артефакта подобные мелочи не помеха.

THE END

Соседка

Он сглотнул слюну, ощутив сквозь сумбур из обрывков сна и подъемной мути хорошо знакомый металлический привкус. Десны кровоточили. Поморщившись и прикрыв глаза, он ухмыльнулся, здороваясь со старым недругом. Иштван давно заметил, что уже в первом столкновении с новым днем – в этом испитии собственной крови – присутствует напоминание о смерти. “И человек сразу принимается чистить зубы, как бы вступает в противостояние, бросает вызов этой самой смерти, или… или хотя бы старается отвлечься”, – думал он, глядя как остатки зубной пасты нехотя выползают из мятого тюбика.

Странно, человечеству удалось каким-то чудом договориться и сойтись на этом первом, всеми принятом форпосте обороны – зубы. На него вдруг нахлынуло чувство сострадания при виде жалкой, и потому особенно трогательной попытки сберечь хоть что-то в заведомо обреченной, безнадежной борьбе. Оно сближало его с другими людьми, дарило скорбное, но теплое ощущение братства в горе. Иштван был уже почти готов всех простить и обнять, но когда он надолго зацикливался на таких мыслях, ему становилось противно.

Иштван прополоскал рот, окинул взглядом отражение в зеркале и отправился одеваться. По утрам, пока новый день едва теплился первыми лучами, возникало чувство некой надежды, радостного предвкушения, словно отголоски полузабытой мелодии из далекого детства. Но Иштван просыпался поздно, и ему редко удавалось застать это призрачное ощущение, пока оно не растворилось в дневной суете и обыденности.

Одевшись, Иштван нацепил темные очки и вышел. Было жарко. Зной и духота навалились сразу за дверью. Он скатился по лестнице, прошел через заботливо ухоженный садик и спустился на улицу. У каменной ограды в тени раскидистого дерева стояла соседка с верхнего этажа. Ей было за шестьдесят, звали ее Дина, и у нее не было ни мужа, ни детей, ни какого-либо определенного занятия. Она была толстая, задорная, с красными короткими волосами, вечно носила странные мешковатые одеяния и большие яркие украшения.

– О-о-о, доброе утро, – акцентируя слово “утро”, пропела соседка. – Ба! Ваше сиятельство соизволило-таки проснуться? Не рано ли? Всего два часа дня, – продолжала она с ликующей интонацией. – Кстати, ты вообще собираешься внести платеж за уборку подъезда? Полгода уже! Совесть у тебя есть, стервец ты этакий?

Как, интересно, соотносится понятие совести с уборкой подъезда? – подумал он и машинально поправил ее вслух:

– Кхм, пять. Пять месяцев, если быть совсем точным.
– А скажите, пожалуйста, с какой радости в четыре утра ни в чем не повинные горожане удостоились чести вкушать великую музыку Иоганна Себастьяна?
– Гендель, это Гендель. Фредерик Георгович. А ты нарочно встала на солнцепеке поговорить с прохожими о классической музыке?
– Нет, я жду! И не воображай себе, не встречи с тобой или с твоим Генделем, – широким жестом Дина отмахнулась от аудиенций и с великим композитором, и с героем нашего рассказа. – Такси жду. Уже двадцать минут тут загораю, а его все нет.
– И куда ж ты намылилась?
– К ветеринару, – она кивнула на пластиковую клетку, бережно спрятанную в тени ограды.

Дина постоянно твердила, что ненавидит людей, но по сути была добра и отзывчива, несмотря на вечную язвительность. Кроме ухода за садом, она опекала местных котов. Два раза в день Дина спускалась во двор с огромной миской подозрительно пахнущей смеси, и на этот праздник желудка сбегались десятки котов и кошек с ближайших окрестностей. А отдельные представители круглосуточно несли посменный караул у подъезда, растянувшись на прохладных камнях лестницы или нежась на солнышке в саду.

– Ты теперь лечишь у ветеринаров уличных котов?
– Никто другой ведь этого делать не станет. Мне – благополучно выжившей из ума пенсионерке – уже можно.
– Ну,.. раз так – поехали. Подвезу.

Она грузно втиснулась со своей клеткой в его старую машину. “Человек и кошка плачут у окошка, серый дождик каплет прямо на стекло…”[51] – вспомнилась Иштвану когда-то любимая песня. Дина долго пристраивала злополучную ношу на заднем сиденье, затем уселась и придирчиво осмотрела захламленный салон. Потом протянула руку, сняла веточку, приставшую к майке у него на плече, опустила окно и аккуратно выбросила ее на улицу. Многозначительно помолчав, она потребовала:

– Но ты должен сразу пообещать ехать медленно, – Дина пристегнулась и тщательно расправила пояс безопасности. – Я не переношу быстрой езды.

---

[51] “Человек и кошка” – группа “Ноль”, альбом “Песня о безответной любви к Родине”.

Дождавшись окончания очередного театрального акта, он завел двигатель и включил кондиционер.

– Курить можно? – спросила она, как только машина тронулась.
– Можно-можно, – пожал плечами Иштван. – Тебе все можно.

Дина закурила и произнесла вкрадчивым тоном, будто продолжая давний разговор:

– А где же невеста нашего принца?
– Невеста… невеста…

Мало ей кота, нет, надо еще и меня пилить, – подумал он.

– Не возбуждают меня белые платья. Да и какие тут принцессы, ты кругом посмотри.

Они остановились на шумном перекрестке. В людском потоке к пешеходному переходу приближалась молодая крашеная блондинка. Она тянула за руку девочку в смешном салатовом платьице. Девочка упиралась. Резко дернув, мать развернула ее к себе и бросила пару слов, скупо жестикулируя. Дочка насупилась, отвернулась и положила руки на парапет. Блондинка сняла солнечные очки и принялась их протирать. Зажегся зеленый свет, пешеходы засуетились и, обтекая машины, хлынули на переход. Мать продолжала рассеянно протирать очки, дочь самозабвенно пинала носком сандалии железный парапет.

“Самозабвение, – думал он, – самозабвение, или нет, тут что-то другое…” Сзади раздался резкий гудок, Иштван очнулся и увидел, что свет уже сменился, машины тронулись, и за ними образовалась длинная очередь. Спохватившись, он вогнал передачу и выжал газ. Дина тоже пришла в себя, заворочалась и потянулась к клетке.

– Я же просила ехать медленно! Где ты вообще взял такую развалюху?

Он покосился на нее и выразительно вздохнул. Машину тряхнуло на выбоине, и соседка врезала Иштвану клеткой по голове. Кот издал страдальческий мяв и затих. Дина продолжала ерзать и угомонилась, лишь когда после нескольких неуклюжих попыток ей наконец удалось перетащить драгоценную поклажу к себе. Водрузив ее на колени, Дина тоже наигранно вздохнула, передразнивая его, и победоносно вымолвила:

– Действительно, к чему разговаривать с сумасшедшей брюзгливой старухой?!

Она задумалась, и остаток пути прошел в тишине. Вскоре они приехали. Из щели запертой двери торчала записка. Выдернув ее, Дина объявила, что ветеринар отлучился, и попросила подождать вместе с ней. Иштван пристроился на краю чахлой клумбы, прислонился спиной к стене дома и закурил, посматривая сквозь полуприкрытые веки на Дину, которая монументально встала напротив входа в клинику. Вся ее поза подчеркивала утрированное нетерпение. Загодя предвкушая скорую расправу, она была явно рада тому, что приходится ждать.

Ветеринар явился минут через двадцать.

– Где это черти носят нашего ученого эскулапа? – процедила Дина, смакуя каждое слово и с трудом сдерживаясь, чтобы не выплеснуть в один присест все накопленное за время ожидания.
– Добрый день, – приветливо откликнулся ветеринар. – Дина, пожалуйста, проходите.
– Сколько можно шляться где ни попадя?! Здесь не только кот, я сама скоро окочурюсь от этой жары, – Дина гулко пригвоздила к столу записку. – Могли бы хоть воды предложить пожилой даме!
– Кто окочурится? Дина, прошу, присаживайтесь, – ветеринар улыбнулся и поставил перед ними два запотевших пластиковых стаканчика.
– Конечно, окочурится! И без вашего ветеринарного диплома видно.
– Так-так, не стоит сгущать краски. Давайте-ка посмотрим, – ветеринар распахнул клетку и аккуратно извлек оттуда рыжего полосатого пациента.

Ветеринар делал все неторопливо, обстоятельно, как бы с ленцой. Тихо посмеиваясь, он мягко парировал ее колкости с простым искренним добродушием. Посидев некоторое время, Иштван встал и пошарил в карманах в поиске сигарет. Пачка оказалось пуста. Он окинул взглядом сцену реанимации несчастного животного и, убедившись, что Дина и ее кот находятся в хороших руках, вышел на улицу.

Постояв в нерешительности, Иштван направился вниз в сторону ближайшего перекрестка. Народу почти не было. Он шел по узкой извилистой улице с невысокими старыми домами. На облицованных посеревшим камнем стенах тут и там громоздились выцветшие рекламные щиты. Надписи на вывесках были едва различимы, но сквозь полустертые буквы еще проступали очертания мнимых

горизонтов, и по сей день манящих в неведомые дали уже давно несуществующих людей.

Неподалеку от перекрестка на противоположной стороне улицы суетился поджарый молодой человек. На нем красовались спортивные штаны с лампасами, майка в обтяжку и модные очки. Аккуратно подстриженные волосы были прилизаны какой-то дрянью. Неспешно и обстоятельно он намыливал крыло новенькой машины. Хлопья пены скользили по зеркальным поверхностям и оседали на мостовую, покрытую жирными пятнами втоптанной в асфальт шелковицы.

Иштван остановился, разглядывая излишне чистоплотного субъекта. Сцена чем-то раздражала и назойливо привлекала его внимание. Это же надо такое удумать – вылизывать и без того кристально чистую тачку, да еще в дикую жару… Кстати, почему этот Мойдодыр не в офисе? Неужто специально взял отгул, чтобы всласть посмаковать этот авто-фетиш? Иштван увлекся и уже дирижировал в такт своим мыслям, субъект оглянулся и наш герой, осекшись, неловко оборвал очередной взмах. Обойдя машину и как бы заслоняя ее, автолюбитель продолжил оглаживать ее с другого бока. “Ревнует”, – подумал Иштван и, посмеиваясь, потопал дальше. “Смотрите, – отходя, он широко повел рукой, словно приглашая воображаемых зрителей. – Пожалуйста, любуйтесь. День, улица, чувак, машина, бессмысленный и яркий свет…”

Ларек отыскался в конце соседнего переулка, такой же ветхий и неказистый, как и все вокруг. Купив сигареты, Иштван в задумчивости остановился. Возвращаться не хотелось, и он отправился бродить по окрестностям. Повинуясь капризам холмистого ландшафта, узкие улицы причудливо переплетались, и всякий раз, сворачивая на перекрестке, Иштван оказывался как бы в иной плоскости. Ему давно не доводилось бывать в этой части города, где даже застывший воздух полнился чем-то неуловимым, становясь более плотным, насыщенным; а облупившаяся штукатурка домов и ржавая сетка приземистых покосившихся заборов странно гармонировали с блеклыми деревьями и выгоревшей травой.

Иштван замедлил шаг перед калиткой дворика, окруженного по периметру вьющимися кустами. Внутри виднелись хаотично разбросанные цветочные кадки и кактус в человеческий рост в дальнем углу. Его внимание привлекли осколки посреди дорожки из гравия, делившей двор на два правильных квадрата. Над входом на выгоревшей стене виднелось прямоугольное пятно от некогда светящейся вывески с номером дома. Обломки фонаря и темное пятно красиво дополняли друг друга, придавая картине целостность, завершенность.

Присмотревшись, он заметил на осколках ниточки паутины, уже покрывшиеся бархатистым налетом пыли. И ведь никто не посмел убрать или просто смахнуть битый пластик в сторону, – думал Иштван. Наверняка тут живут особенные люди, отзывчивые и чуткие к неброской красоте.

Постояв, он отправился дальше, отходя медленно и осторожно, чтобы не нарушить резким движением янтарную тишину этого тонкого равновесия. В нечетких размытых гранях, в трещинах и царапинах ему виделись наполненность едва уловимыми смыслами, жизнь и теплота. Время своим касанием смягчало краски, примиряло детали и контуры, утоляло боль и тоску, сквозящую из пустоты зазоров, делая вещи более настоящими, живыми.

Покинув этот заповедник времени, Иштван вышел к знакомому перекрестку. Молодой человек уже смыл пену и теперь насухо протирал лоснящийся на солнце автомобиль большим специальным полотенцем. Иштван закурил и остановился на противоположной стороне улицы. Отгороженный темными стеклами очков, он рассматривал рачительного субъекта, следя за его плавными движениями. Вдруг на Иштвана вновь, но на сей раз более резко и осознанно, нахлынуло прежнее ощущение. Кроме грубой несообразности с окружающим, в этой сцене ясно проступило что-то неприличное, отталкивающее, что-то эротически-извращенное. Поежившись, он передернул плечами, сбрасывая наваждение, отшвырнул недокуренную сигарету и громко произнес:

– Красивая у тебя машина, – непосредственная близость происходящего к заповеднику времени оскорбляла его эстетический вкус, и Иштван едва сдерживался, чтобы не скатиться в откровенное хамство.

Субъект на мгновение застыл и принялся расплываться в гордой улыбке. Когда это самодовольство достигло предела допустимой скулами ширины, Иштван приподнял очки, тоже улыбнулся и произнес, акцентируя каждое слово:

– Феноменально. Красивая. Машина, – подмигнув, Иштван прищелкнул углом рта, отвернулся и направился в сторону ветеринарной клиники.

К его возвращению сеанс реанимации уже почти завершился. Напоследок коту поставили капельницу и поместили в питомник, где он должен был остаться под наблюдением еще несколько дней.

– Какую цену назначит многоуважаемый доктор? – ехидно поинтересовалась Дина.
– А разве это ваш кот? – парировал ветеринар, пожимая плечами.

После затянувшейся прощальной клоунады с пародией на реверансы и нарочито комичными расшаркиваниями Дина, наконец, позволила себя выпроводить.

– Карета подана. Куда прикажете? – Иштван галантно распахнул перед ней дверь машины. – Теперь домой?
– Такой обходительный джентльмен – привозит, увозит. Шикарно! А изначально ты куда направлялся?
– Пожрать… ну, то есть откушать завтрак, если вы изволите продолжать в той же изысканной манере.
– Завтракать, пожалуй, поздновато. Давай-ка лучше угощу тебя обедом.
– Да ладно, Дина…
– Мне как раз рассказали о новом итальянском ресторанчике. Очень хочется взглянуть. Вы не составите компанию пожилой даме?

В небольшом кафе по случаю буднего дня не было никого, кроме молодой официантки, скучавшей у входа в компании своего мобильника. Выбрав столик на улице, они устроились в тени под широкими тентами. В ожидании заказа Дина попыталась возобновить разговор на близкую сердцу каждой женщины тему, но так как на любовном фронте у Иштвана творилась полная неразбериха, отвечал он туманно и уклончиво.

Ничего толком не добившись, Дина решила сменить жертву и стала присматриваться к скучающей особе. Для начала она осведомилась, как ему нравится официантка, и сколько ей, по его мнению, лет. Потом, уловив момент, Дина подозвала ее и принялась заваливать разнообразными вопросами. Радуясь возможности пообщаться, девушка охотно отвечала. Оказалось, что ей двадцать три года, раньше она жила в другом городе, но теперь переехала и учится на дизайнера в одном из местных колледжей. Официантка несколько раз повторила, что ей все очень нравится и что все у нее в жизни очень, ну просто очень хорошо. При этом Иштван представил, как это юное создание подпрыгивает и радостно хлопает в ладоши. Насытившись этим птичьим щебетом, он отвлекся и задумался о своем.

К действительности его вернула резкая перемена тона. Преисполнившись особой доверительности, Дина призналась официантке, что Иштван ее сын. Во дает! – подумал он, не мигая уставившись на соседку. А она как ни в чем ни бывало тараторила дальше. Ее голос был полон триумфа. Она светилась. Поначалу смысл ее фраз лишь обрывками достигал его ошарашенного сознания. Тем временем

Дина, расхваливая своего новоиспеченного сыночка, бесцеремонно сватала его бедной девушке.

Околдованная Диной, та неотрывно глядела на Иштвана с глуповатой улыбкой. Дина ликовала. Она выдумывала все новые, более и более несуразные и умилительные истории из его раннего детства и отрочества и, наклонившись к девушке, конфиденциальным тоном, но так, чтобы Иштван тоже мог слышать, нашептывала их ей на ухо. Поудобнее устроившись в кресле и закинув руки за голову, он с восхищением следил за происходящим. Официантка так же радостно кивала и поддакивала, игриво посматривая в его сторону. Исчерпав амурную тематику, Дина попробовала было завести витиеватую беседу о дизайне, но девушка смущенно захихикала и призналась, что она только начала учебу и ничего ни в чем не понимает. Разговор в очередной раз сменил направление, и вскоре наскучившая Дине девушка была отпущена с миром.

Вдоволь натешившись официанткой и слегка подкрепившись, Дина принялась рассказывать о себе. Выяснилось, что по образованию она психиатр, долго работала в большом государственном учреждении и несколько лет назад вышла на пенсию. Избавившись от службы, она почувствовала, что пришло время себя баловать, и стала, по ее выражению, любовно пестовать свои маленькие сумасшествия. Кроме покровительства над кустами и котами, она с недавних пор взяла шефство над птицами, устраивая для них кормушки у себя на балконе и рядом с домом. Дина обожала покупать себе подарки, много читала и наносила светские визиты бесчисленным подружкам.

– Правда, – добавила она с усмешкой, – ни у кого долго не засиживаюсь, потому что все быстро начинают меня раздражать.

Они давно закончили есть, и, подхватив ее ноту, Иштван предложил заказать кофе и закругляться, пока он тоже не попал в эту категорию. Дина рассмеялась и заявила, что он действительно очень назойлив, не в меру болтлив и уже порядком ей надоел. После кофе, к которому, не преминув упомянуть о вреде мучного и сладкого, Дина заказала себе два пышных кремовых пирожных, он отвез ее домой и поехал гулять по берегу моря.

На другом конце города в опустевшей клинике было темно и тихо. Ветеринар давно ушел. Пустые клетки зияли распахнутыми дверцами. Лишь одна была закрыта, в ней лежал Динин уличный кот. Он умер в тот же вечер, а Дина и Иштван продолжали общаться еще долгие годы.

Близились сумерки. Море наполняло воздух гулом прибоя. Иштван шел, и волны с мягким шелестом смывали его следы. Влажный бодрящий ветер бил в лицо соленой прохладой, срывая последнее тепло остывающего песка. Ночь вступала в свои права, все затихало и успокаивалось. Густея, мгла мягко поглощала дневные звуки и запахи. Темнота бездонного неба, выплеснувшись на прибрежные холмы, вспенивалась созвездиями далеких электрических огней. В потоках воздуха, струящегося от нагретой за день земли, мерцал и искрился город – косые лучи уличных фонарей, желтые окна домов и красные точки машин.

Мой папа и Томи Лапид

Во фрагменте “Азриэли, Дина и Миша без крыши” я обещал найти и приложить к роману крайне амбициозное и не менее инфантильное письмо, сочиненное в студенческие годы вместе с моим школьным товарищем Павлом. Оно адресовалось тогдашнему министру юстиции Томи Лапиду и касалось кардинального решения сразу двух острейших проблем нашей страны – внешней безопасности и отделения религии от государства – посредством переселения светской части израильского общества в какую-нибудь более благополучную точку земного шара. А басадоподобных оставить тут с Божьей помощью разбираться с палестинцами.

Копия этого шедевра политической мысли у меня не сохранилась. Основную его часть составлял эскиз бизнес-плана, первым этапом которого была передислокация наиболее зажиточной и мобильной прослойки – тружеников хайтека и финансистов, – а венчалось все высокой и даже лирической нотой. Для наглядности и создания вовлеченности рисовалась картина утопического будущего, где Томи на причале в белых штанах встречает новоприбывающих сограждан, а те машут ему руками и… (вероятно, мы выразились не совсем так, но нечто подобное ввернули) …и в воздух чепчики бросают!

За время написания романа в надежде обнаружить вторую копию я сумел разыскать Павла, который, оказывается, перебрался в Амстердам. Вспомнили школьные годы, посмеялись над тогдашними чудачествами, однако и тут меня ждала неудача – воззвания к министру не нашлось и у него. Тогда было решено выделить время и попытаться воссоздать исходный текст. Но сперва на меня навалилась бытовуха, потом он был занят, и задумка не осуществилась.

Оставалась еще гипотетическая возможность обратиться в Кнессет[52], хотя вряд ли правительство столь трепетно отнеслось к нашему проекту, чтобы хранить его все эти годы. Кроме того, контакты с властями чреваты непредсказуемыми вопросами – от степени моей гражданской благонадежности до уточнения, какими именно препаратами надо было зарядиться, чтобы составить и, главное, отправить им подобный документ.

Как видите, ничего не клеилось. На крайний случай существовал и компромиссный вариант: вернуться к фрагменту, где упоминалось обращение к министру, и

[52] Кнессет – парламент Израиля.

подчистить текст – пару штрихов, как белые штаны и чепчики, добавить, а взятые на себя обязательства убрать. Вышло бы более гладко, но как-то неправильно и в чем-то нечестно. Хотя к этому моменту я уже начал сомневаться: так ли интересно обращение двух нетрезвых студентов к давно почившему политику, к тому же неизвестному большинству читателей?

Получается, я задолжал вам рассказ, и подходящая история, напрямую относящаяся к роману, действительно, произошла непосредственно перед награждением ручкой Montblanc.

Этим же летом, накануне провозглашения меня лучшим аспирантом вдруг позвонил мой отец. Я говорю “вдруг”, потому что он звонит крайне редко. Ему и раньше-то было со мной непросто, а когда я пустил под откос успешную карьеру ради сомнительных литературных экзерсисов – какой-то придури – он записал меня в категорию юродивых и вовсе махнул рукой.

На самом деле, в высшей мере гуманное решение. “Доброжелателей”, пытающихся лечить меня от этой “хандры”, и так хоть отбавляй. А папа не стал заморачиваться. Он довольно прямолинеен, и свойственных мне мерехлюндий за ним не водится. Самоедской рефлексией и нерешительностью он не страдает. Или, во всяком случае, подобно мужчинам старой закалки (в лучшем понимании этого выражения), не позволяет себе расклеиваться при близких.

Даже не знаю, действительно ли он обладает настолько устойчивой психикой, что тараканы у него в голове просто не водятся, либо он их так выдрессировал, что они маршируют строем и салютуют, браво звякая шпорами. Если его и грызут собственные изъяны и ощущение своей уязвимости, наружу это не выплескивается. Не уверен, что это лучшая жизненная тактика, но, во всяком случае, она заслуживает уважения.

– Привет… – произнес он каким-то странным, неправильным тоном.
– Привет, – отозвался я.

Повисла тишина. Казалось, он в замешательстве, что на моей памяти с ним почти не случалось. Это пугало и настораживало. Мой отец ведь такой, каким должен быть разведчик в советских фильмах о Второй мировой. О себе не распространяется. Военных тайн не разглашает. Если и говорит, то по делу, и не треплет зря языком.

А я… так – размазня какая-то. С такими в разведку не ходят. Куда там… Не знаю, действительно ли он так думает. По крайней мере, мне так кажется. Отец же не чета мне. У него всегда все нормально. Все. Нормально. Хотя он постоянно на взводе, как перед штыковой атакой. Но останови его и спроси – ты как? Все нормально. А что? Нормально – до зубовного скрежета.

Удушливое молчание длится. Напряжение нарастает.

– Что-то случилось? – решаюсь нарушить тишину я.
– Не знаю, стоит ли тебе говорить… – выдавливает мой отец-разведчик.

Я, естественно, пугаюсь еще больше. Папа, как-никак, не привык пасовать ни перед какими преградами. По приезде в Израиль мой отец в сандалиях и носках…

Тут для российских читателей необходимо небольшое пояснение. В Израиле понятие какого-либо дресс-кода практически отсутствует. Как мужчины, так и женщины преимущественно шатаются в чем попало. Вдобавок большую часть года здесь такая жара, что основной вопрос не в том, как бы получше одеться, а в том, как бы раздеться, сохраняя отдаленное подобие приличия.

Однако при этом, по абсолютно неясной причине, обувать сандалии поверх носков здесь совсем не комильфо. С точки зрения местного этикета, выйти на улицу в сандалиях с носками… это как… не знаю даже, с чем сравнить, допустим, явиться на светский раут в семейных трусах.

Так вот, по приезде, пока остальные новые репатрианты в растерянности хлопали ушами, мой папа в сандалиях и носках – то есть в абсолютно несуразном для здешних широт виде этакого почтальона Печкина (чего ни он, ни мы тогда не понимали), и для полноты образа примерно с такой же, как в том мультфильме, советской сумкой на боку… Мой папа, в чужой стране, не зная языка, и вооруженный лишь туристическим разговорником да набором выразительных жестов, ринулся в битву на ниве трудоустройства.

Обошел пешком пол-Иерусалима, нашел работу по специальности в солидной конторе, но на этом не остановился, а, боюсь даже представить какой именно пантомимой, впарил им, что вместо него будет работать его приятель – хороший специалист, но далеко не такой пробивной и не способный на подобные подвиги. Затем мой неутомимый отец обошел оставшиеся полгорода и добыл место уже для себя.

И вот мой папа, самых лучших правил, без страха, упрека и иных полезных качеств, молчит в трубку и не знает, что сказать. И это молчание настолько насыщено, даже переполнено…

– Пап, алле, что случилось? Хватит меня пугать.

И тут мой отец совершенно несвойственным ему деревянным голосом зачитывает уведомление от Министерства внутренних дел, извещающее моих родителей о том, что их старший сын – то бишь я – скончался на прошлой неделе.

Уж не знаю, что происходило с папой до и во время этого звонка; как я уже говорил, душевные переживания моего отца – тайна за семью печатями, но сперва я разражаюсь диким гоготом. Сквозь хохот прорезается мысль: не то чтобы это вовсе не произойдет, но МВД уж как-то слишком предвосхищает события. Правда, озвучивать это наблюдение родителю, звонящему убедиться, что его непутевый сынок еще обитает среди живых, было не вполне уместно.

Вдруг я ловлю себя на том, что панически ощупываю собственное тело. Пробегаю пересохшим языком по зубам. Тело, как тело. Бренное, конечно, но еще вполне живое.

Волна липкого страха схлынула, и я вспоминаю, как недавно перечитывал "Письмовник" Шишкина. Когда мне плохо, я забываюсь в пространстве любимых книг. У Шишкина стажер на практике в больнице, дожидаясь, пока отдаст концы сбитый машиной бомж, курит на улице и спрашивает себя: зачем нужен этот старик? А потом написано: "Теперь все хорошо. Ничего не болит, никто не гонит. И вот так мыл его и разговаривал. Не знаю, помогло ли это ему в смерти, но мне это очень помогло жить".

Меня тогда тронули две вещи. Во-первых, я понял, когда настанет то самое многажды обещанное "все хорошо". Меня всегда коробило, что это утешение на все случаи жизни, сплошь лживо и фальшиво, и почему, собственно?.. Да, вероятно, потому, что мы так и не нашли ничего лучшего. Я подумал, что, следуя этой логике, и у меня тоже "все будет хорошо", жаль только, к тому моменту уже не станет самого меня. А не понял я вот что: почему и чем это помогает жить? Осознанием того, что череда сумбурных и зачастую травматичных происшествий когда-то, и не так чтобы не скоро, закончится?

– Не пугайся, пап, – говорю я, кое-как выкарабкавшись из каскада противоречивых переживаний. – Я жив, очень даже жив. – И, помолчав, через силу добавляю: – Все

будет хорошо. А… кстати, ты это… только не выбрасывай. Хочу сохранить на память.

На этом заканчивается разговор с отцом, и вскоре письмо от МВД занимает достойное место рядом с ручкой и уведомлением об изгнании из рая. А у меня пока еще не все хорошо. Зато и не скучно. Кроме того, в свете “похоронки”, извещающей о моей безвременной гибели в борьбе с академической системой, сакральный артефакт – ручка Montblanc – приобретает новое измерение абсурда. Если в эпилоге можно было говорить об абсурде в квадрате, так как я не лучший и не аспирант, то теперь мы имеем абсурд в кубе. Как ни странно, никого в институте не смутило, что получать приз прибыл “новопреставившийся” “покойник”.

И этот кубический абсурд… эта кумулятивная совокупность мировой бредятины, которую не вместить и не объять, далеко не ограничивается академической средой или даже отдельно взятым государством.

Так что хорошо еще отнюдь не все. Но и далеко не все плохо. Черновик романа почти готов. Остается заполнить пробелы, отшлифовать и скроить из набросков последний фрагмент, который истинным адептам постулата “все будет хорошо” не стоит даже открывать, и рекомендуется, не искушая судьбу, благополучно отложить книгу в конце этого рассказа.

Однако, несмотря ни на что, ручка Montblanc, ждущая своего часа за стеклом серванта, помогает мне писать. И это помогает жить.

Жить вопреки или, наоборот, благодаря заверению МВД о том, что уроженец Санкт-Петербурга Ян Росс – кавалер ручки Montblanc – “верный присяге, проявив героизм и мужество”, пал в неравном бою за безымянную наночастицу.

Лекция о страдании и счастье для юных физиков

– Для начала определимся с терминологией. Счастье, – я вывел на доске слово “счастье”. – Что же такое счастье?

Аудитория загалдела, на лицах проступили очень разные выражения: от растерянности и недоумения до самодовольных ухмылок тех, кто полагали, что уж точно знают ответ, но высказывать его во всеуслышание – ниже их достоинства.

Выдав несколько банальностей, студенты призадумались и уткнулись в мобильники, предпочитая блеснуть искрами чужого гения, почерпнутыми из сетевого пространства, чем откровенничать, рискуя поставить себя в неловкое положение.

– Счастье – это когда предыдущий пиздец уже закончился, а следующий еще не начался, – выдал самоуверенный белобрысый паренек с челкой немецкого подростка.

Все одобрительно загоготали.

– Кхм… в общем-то, да. Вопрос только в том, что есть пиздец, и откуда он берется. Я даже не рассчитывал так сразу… Впрочем, мы забегаем вперед.
– Счастье – это когда тебя понимают, – зардевшись, пропищала прилежная ученица, привычно занявшая место в первом ряду, – большое счастье – это когда тебя любят, а настоящее счастье – это когда любишь ты.
– Ох, это, конечно, очень… очень романтично, но… любовь такая сложная штука, столько всего намешано… что, как ни крути, она не тождественна счастью. Даже если в любви и можно обрести счастье, любовь счастьем не исчерпывается. И наоборот – счастье не исчерпывается любовью. Особенно безответной любовью, которая по этой классификации тоже является наивысшим счастьем. Но не будем углубляться в дебри. Тем более, при всем уважении к… А кто это сказал?
– Конфуций, – созналась она.
– Спасибо,.. эм, при всем уважении к Конфуцию, – я ненадолго задумался, – подозреваю, что он не пытался сформулировать определение счастью, а сопоставлял дружбу и разные типы любви… Тут понятие “счастье” используется как некое мерило, шкала для сравнения.
– Счастье – это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая, любящая семья в другом городе, – раздалось с заднего ряда.

Эта реплика была тоже встречена благосклонными ухмылками, но уже не так единодушно.

– М-м… То есть счастье – это свобода от семейных обязательств? Как-то мы не в ту степь, – я невольно усмехнулся, – хотя это не лишено юмора. – Судя по насупленным выражениям лиц женской половины класса, мой комплимент этому изречению пришелся им не по душе. И чтобы не рассеивать внимание на побочные темы, я поспешил добавить: – Я, естественно, не пропагандирую супружескую неверность.
– Ум, несомненно, первое условие для счастья, – объявил серьезный русский тип с явными задатками карьериста. И веско припечатал: – Софокл.
– Ну,.. Софокл тот еще фантазер, – рассмеялся я. – Это у него, возможно, счастье от ума, а у обычных людей от ума преимущественно горе. “Умножающий знания – умножает скорбь” и все вот это.
– Допустим, тогда так: счастье – это хорошее здоровье и плохая память, – не сдавался будущий карьерист.

Он вечно норовил первым и не спросясь встрять с ответами и уточнениями лишь затем, чтобы нарциссически насладиться эхом своего голоса, звенящим в стенах аудитории. Он действительно умный и способный, и если бы не эта манера, цены бы ему не было.

– Да, подкупает лаконичностью, но… я собирался об этом позже, но раз уж… эм… Вопреки расхожему мнению, здоровье редко влияет на степень… или уровень счастья. Когда речь идет о заболевании, при котором состояние неуклонно ухудшается, и пациент не успевает оправиться от новых ударов судьбы, – тогда да, безусловно, влияет. А в случае пусть даже серьезной, но не прогрессирующей болезни, через пару лет большинство людей возвращается в свой привычный спектр счастья-несчастья. Вовсе не интуитивно, но есть научные исследования.
– Короче, – не унимался карьерист, – вы собираетесь сообщить нам, что же такое, по-вашему, счастье?
– Короче? Я же не впариваю вам ультимативный рецепт “как стать счастливым за пятнадцать минут”. И вообще…
– Happiness is just a state of mind,[53] – флегматично пробурчал кто-то.
– Вот, очень точно! – Я воодушевился. Это было не только точно, но и своевременно, так как спасло настырного карьериста от взбучки, на которую он, по обыкновению, напрашивался. – Очень точно, но само по себе ничего не объясняет. Кроме того, так можно высказаться практически о чем угодно. Давайте попробуем.

[53] Happiness is just a state of mind (англ.) – Счастье – это лишь состояние ума.

– Корова – это лишь состояние ума, – мгновенно прилетело откуда-то слева. Непонятно как тут возникла эта корова, никаких коров в обозримом пространстве не наблюдалось.
– Курица – лишь состояние ума, – белобрысый с немецкой челкой многозначительно покосился на отличницу с первой ряда.

Все радостно загоготали. Я укоризненно взглянул на этого хохмача.

– Физика – лишь состояние…
– Страна Израиль – лишь состояние ума.

И тут все загалдели наперебой:

– Небо, дерево – лишь состояние ума…
– Ага, – съязвил веснушчатый и худощавый, покосившись на того, который заикнулся про дерево, – особенно, если это дуб.
– Бред… – вздохнула смешливая девушка с утиным носом.
– Бред – это лишь состояние ума! – подхватил веснушчатый.
– И у некоторых оно хроническое, – поспешил свести счеты тот, который про дерево, и которого веснушчатый только что подколол.

Все это происходило в рамках необязательной лекции в конце вводного курса по физике. Мы закончили материал, и я объявил, что на экзамене вопросов о страдании и счастье, само собой, не будет, но кто хочет – добро пожаловать. И вот передо мной двадцатилетние ребята, почти каждый из которых знает все лучше всех на свете, их еще не очерствила и не усмирила жизнь, они отзывчивы, ироничны и колки, как ежики. С этими умненькими Ежиками и на обычных-то лекциях было не скучно, не то что на таких неформатных, и, готовя материал, я порядком волновался.

– Ян Росс – это лишь состояние ума.
– Да, кстати, Ян Росс, это, действительно, лишь состояние ума, как и Израиль, – для того, чтобы вернуть инициативу, надо было их чем-то ошарашить. – Страна Израиль – просто идея, абстрактное понятие… Самого Израиля, если разобраться, нет в материальном мире. Есть только его атрибуты, как то: флаги, города,.. м-м… университеты, ну и, конечно, граждане. Вот я имею удовольствие видеть двадцать пять самых что ни на есть взаправдашних граждан Израиля, состоящих в категории студентов. Но сам Израиль существует лишь в наших умах.

Тут не преминул воспрянуть патриотизм, и раздался нарастающий гул.

– Ладно-ладно, – я примирительно поднял раскрытые ладони, – оставим Израиль. Предположим, что не все лишь состояние ума, а только человеческие переживания. Любовь, тоска, радость, отчаяние – состояния ума. Против этого, надеюсь, возражений нет?

Добровольцев не нашлось. Лезть в бутылку пока никто не собирался, хотя конфронтация с аудиторией – это не так уж плохо. Гораздо хуже просто наскучить. Поэтому стоило поскорее подкинуть в топку чего-нибудь свеженького.

– Прекрасно, – я хлопнул в ладоши. – Итак, подведем итоги: лучшие умы ничего путного о природе счастья не сообщают. Что, собственно, не удивительно. Тем более… как утверждал один русский поэт, на свете счастья нет.[54] Но мы пока не будем заходить так далеко, чтобы отрицать существование счастья… К делу, хватит говорить о том, о чем мы не будем говорить, – я поспешил увеличить темп, чтобы не растерять остатки жадного до новых впечатлений юношеского внимания.
– Есть два концептуально разных подхода к достижению счастья. Восточная методика основана на том, что счастье – лишь состояние ума, и предлагает работать непосредственно с этим умом. Если отбросить шелуху, которой за многие века оброс буддизм, то останется голое руководство по тренировкам сознания. Всякие медитации и тому подобное, ну вы слышали…
– Ум и сознание – это не одно и то же! – вставил свои пять копеек карьерист.
– Не одно и то же, но вы меня поняли. На Востоке нам предлагают подробную инструкцию, как забраться в коробку с шоколадными конфетами. А на Западе такие методы не приветствуются. На Западе победил капитализм, прогресс и все вот это, и нам с детства втирают, что: а) самим лезть за конфетами нельзя; и б) чтобы получить конфеты, нужно хорошенько попотеть. Иначе… ну, если мы научимся без спросу таскать конфеты, кто же станет куда-то рваться и двигать что-то в какой-то там “перед”, когда и так все в шоколаде?

Идем дальше, на Западе существуют две схемы достижения счастья: одна более реалистичная, вторая – довольно шизоидная. Мы все их интуитивно знаем, но стоит взглянуть на это дело критически. Смотрим внимательно, – я вывел на доске:

Счастье = 10% Удовольствий + 90% Смысла

Вот такая формула мнимого западного счастья… или квазисчастья.

[54] “На свете счастья нет, но есть покой и воля” – А. С. Пушкин.

– А почему же мнимого? Как так, мнимого? – раздалось на разные лады, все поспешили оскорбиться в лучших чувствах за нашу передовую западную философию.
– Да… по всему. Во-первых, смысл жизни – понятие крайне спорное и относительное, даже если допустить, что он действительно есть. А во-вторых, этот самый смысл в западном мире принято составлять из мозаики трех типов компонентов: 1) Семья – любовь, супружество, дети; – я стал загибать пальцы, – 2) Работа, но такая, которая не отмучиться с девяти до пяти, а настоящее любимое дело; и 3) Религия или идеология… ну там… быть патриотом, или зеленым, или феминисткой.

И это прекрасно, вот только крайне долго, тяжело, все вместе редко удается, а главное, пока все это проделаешь – так изменишься и постареешь,.. что от той девушки или юноши, начавших когда-то путешествие к этому самому счастью, уже ничего не останется. Многолетний поход, в котором субъект счастья незаметно исчез по пути к цели.
– Но… зачем вы такое говорите? – в нарастающем гаме пролепетала прилежная ученица с первого ряда.
– Это хорошо, что вы эмоционально реагируете, – пришлось повысить голос, – значит, вы в чем-то согласны, или, во всяком случае, задеты нужные струны. И… кстати, все, что я утверждаю, разумеется, можно оспорить… но это вряд ли удастся, как минимум, до тех пор, пока я не разверну полную картину. Так что, позвольте продолжить, а я… Я же не буду настаивать на том, что у большинства людей осуществление этой схемы удается довольно паршиво, а даже если удается, желанный результат зачастую не достигается, и вместо настоящего счастья они корчат из себя счастливых, когда постят в соцсетях, или выходят на люди, или встречаются с друзьями – то есть когда им кажется, что на них кто-то обращает внимание.

Гул возмущения переходил в негодование. Продолжать становилось все труднее, не орать же во все горло – как-никак повышенные тона не вяжутся с рассуждением о счастье.

– Ладно, давайте отмотаем назад – туда, где вам не понравилось, что я назвал этот способ достижения счастья или само счастье мнимым. Выражусь осторожней, эм… назовем его “опосредованным”, потому что для его достижения необходимо выполнить массу нетривиальных условий: найти любимого человека, выстроить отношения, жениться или выйти замуж, взять ипотеку, купить квартиру, выплачивать ипотеку, родить детей, растить, воспитать детей, выплачивая ипотеку… Кстати, еще до всего этого стоит получить диплом, устроиться на

хорошую, любимую и желательно высокооплачиваемую работу, чтобы не только вовремя выплачивать ипотеку, но еще и иметь кое-что в запасе, чтобы пускать пыль в глаза окружающим. Далее: надо удержаться на любимой работе, развиваться на любимой работе, но так, чтобы она оставалась любимой – настоящим делом – от души, а не превратилась в погоню за деньгами и карьерным ростом, и при этом поднимать детей, сберегая и укрепляя супружеские отношения и одновременно латая дыры в семейном бюджете от выплат по ипотеке… и т.д. и т.п. А, да! И еще изыскать время и моральные силы на то, чтобы быть феминисткой, или зеленым, или патриотом Израиля, а лучше и то, и другое, и третье… И лишь тогда, будучи зеленой феминисткой-сионисткой… и тогда… и тогда “наверняка вдруг запляшут облака”, – я выдержал короткую паузу. – Если, конечно, про ипотеку не забывать. Потому что, если из всего вышеперечисленного забыть, скажем, про одну только ипотеку… Впрочем, вы поняли. То есть вот тогда – в далеком будущем, по выполнении всех условий, нам обещано то счастье, которое, по-моему, куда как уместнее назвать опосредованным.

Шум утих, все угомонились, оставалось неясным – удалось ли мне их заинтересовать, или они решили, что их лектор свихнулся.

– Дико, да? А тем временем большинство человечества неосознанно верит, что это и есть единственно верная дорога в счастливое будущее. Но это еще не самое смешное, – я расхаживал перед ними, размахивая руками, будто намереваясь взлететь, – в самый смехотворный миф о счастье верят не все, но многие. Он и вам известен. Этот посыл стоит за всей рекламой и как бы даже сам собой разумеется. Миф такой: счастье – это много-много удовольствий. Можно записать его формулой:

Счастье = удовольствие + удовольствие + … + удовольствие

– Откуда вы это взяли?
– О! А как же! Об этом кричит вся реклама, это как бы ее совокупный месседж. Он не высказывается прямо, но рекламные ролики, как правило, насыщены несоразмерным с потреблением продвигаемого продукта счастьем. Скажем, мороженое – тетка, которая ест мороженое… ее глаза светятся каким-то неземным светом, она смотрит с экрана так, словно…
– Словно сейчас обосрется от счастья.
– Да! Именно! Такого счастья не приносит ни мороженое, ни машина, ни любой иной продукт. Тем не менее, это то, что нам внушают – купите, купите мороженое, модные солнечные очки, отдых за границей и так далее, начиная с мелочей и кончая шикарной машиной и квартирой… И будет вам счастье! Но это же

горячечный бред! И если мне удастся развеять лишь это кретинское заблуждение – уже прекрасно! Ладно еще пытаться высечь искру счастья из святой троицы – Религия, Семья, Работа, – но из этого-то…

Но… Но! Потребление – это не шутки. Сегодняшняя экономика завязана на производстве и потреблении ненужного хлама. Более того, на постоянном росте потребления. И поэтому, вопреки здравому смыслу, нам втирают вот такую шизоидную установку: активное участие в производстве обеспечивает индивида средствами, за счет которых, путем потребления, достигается счастье. То есть: трудитесь, старайтесь, зарабатывайте, приобретайте, ни в чем себе не отказывайте – и все будет ништяк. А если вам еще не ништяк, – значит, вы мало или плохо работаете. Усердней, граждане!
– А почему ненужного хлама?
– Вы утверждаете, что прогресса нет?
– Нет, прогресс есть. Но он не ведет к счастью. Это прогресс… как бы самого прогресса. Прогресс прогресса к еще большему прогрессу. А хлам – не то что совершенно ненужный… он не нужен в смысле достижения счастья. Приобретение дорогого и высокотехнологичного хлама не приближает к счастью. За последние несколько десятков лет беспрецедентного технологического прогресса человечество не сделалось счастливее. Прогресс прогресса есть, а счастья больше не стало.

Какая разница, есть ли у нас море гаджетов, тачки с автопилотом, фешенебельные квартиры и умные дома, если от этого мы не становимся счастливее? И наоборот, если мы станем счастливыми, так ли важно иметь навороченный мобильник, автопилот и все остальное?

Тем не менее, как бы само собой разумеется, что прогресс непременно приведет нас в счастливое будущее. И каким-то чудесным образом мы продолжаем в это иррационально верить… Почему? Потому что общество, коллектив действительно прогрессируют, наращивают мощь. Однако мы забываем, что от этого жизнь отдельно взятого индивидуума совершенно не обязательно становится лучше или счастливее. Но прежде, чем перейти к этому, давайте определим, что такое страдание. И, – предупреждая реакцию аудитории, я поспешил добавить: – не пугайтесь, в отличие от счастья, это будет коротко и просто.

Я осмотрелся. Карьерист поглядывал на меня с недобрым прищуром, зато большая часть остальных Ежиков, казалось, была заинтригована и следила – кто с интересом, кто с осуждением, но внимательно.

– Значит, страдание: есть точка А, – я нарисовал жирную точку, – это то состояние, в котором мы находимся в данный момент. И есть точка Б – где мы хотим быть, – на доске появилась еще одна точка с буквой. – Теперь, все мирское страдание рождается из расстояния между двумя этими точками. Из-за их несовпадения, – я изобразил между точками обоюдоострую стрелку и над ней треугольник заглавной греческой буквы. – Обозначим этот зазор дельтой. Что такое дельта? Дельта – это мера несоответствия действительности нашим ожиданиям. Из дельты – из потребности свести ее к нулю – и возникают все стремления, желания и мечты. Мечты! – я вскинул руку и ткнул пальцем куда-то вверх. – Сколько сил было приложено, чтобы придать мечте идиллически возвышенный образ… А меж тем, мечта – это источник всего дискомфорта, разочарований, недовольства собой и в конечном счете страдания.

Но в то же время мечта (то есть страдание) – это и есть двигатель прогресса или, если хотите, его топливо. Чем больше дельта – тем больше стремление, как бы потенциальная энергия недовольства и страдания, которая побуждает бороться. Любая мечта – это стремление свести к нулю дельту в какой-то определенной плоскости. И чем грандиозней мечта – тем глубже и острее страдание.

А… весь абсурд и… и ужас – в том, что нам с детства внушают, как прекрасно мечтать. И мечтать надо по-крупному. Dream Big! Готовьтесь играть (то есть страдать) по-крупному, чтобы выиграть по-крупному.

Однако страдание вам гарантировано, так как оно вытекает из самого зародыша стремления, а вот выиграете ли вы – совсем не факт. А если и выиграете,.. удастся ли выжать из победы терпкие капли трудно добытого счастья и будут ли они сопоставимы с тем внутренним дискомфортом, который необходим для того, чтобы годами держать себя в состоянии борьбы и погони за некой “прекрасной” мечтой, – тоже не факт. А если уж до конца откровенно, то… то ни первого, ни второго никогда не будет. Потому что невозможно ухватить за хвост рожденный в воображении фантом. Не будет ни эквивалентной ожиданиям победы, ни якобы проистекающего из нее счастья… Нас раз за разом ждут лишь разочарования по поводу несбыточности или обманчивости очередной мечты. Зато социум, который нас на это подталкивает, выигрывает всегда.

Но не отчаивайся, человек! Социум позаботится о тебе, заблаговременно развесив перед носом новые морковки. Целые грозди! Он зажжет мириады созвездий заманчивых перспектив, распахнет ошеломительные горизонты, за которыми!.. На этот раз уж точно!..

– А… ну… это какая-то теория заговора. И кем же эти идеи продвигаются? И главное – зачем? Или… почему?
– Нет, нет никакого заговора! – обрадовался я, получив удобный повод оборвать речитатив, в котором с ходу взял слишком пафосную ноту. Теперь можно было продолжать нормальным тоном: – Я, действительно, иногда выражаюсь так, будто это заговор, но лишь потому, что в такой форме проще понять и… забавней излагать. Но в сущности, я не пытаюсь создать впечатление, что есть некая группа злодеев, какое-то закулисное мировое правительство, которое это все придумало и теперь над нами измывается. Нет. Это происходит само собой. Естественным образом побеждает то общество, тот социум, члены которого более амбициозны и алчны, потому что они более остервенело рвутся в какое-то там "перед". Социум крепнет, вытесняет более умеренных, менее устремленных, и побеждает. И, после того как оседает пыль, историческая правда остается на его стороне. И потомкам кажется, что прогресс – это здорово. Потому что те, кто так мыслили, выиграли и внушили им соответствующую систему ценностей, а не потому, что прогресс – это и впрямь так уж хорошо.

Так вырабатывается механизм, заставляющий нас быть нарочито позитивными, амбициозными и целеустремленными, всеми силами раздувать свою сегодняшнюю дельту, вопреки тому, что жизнь, построенная по принципу увеличения дельты, сочится и истекает страданием. Более того, мы делаем вид, что страдание, которое является топливом прогресса, как бы и вовсе не существует. Мы прикидываемся, что целиком и полностью вовлечены в дело компании, и улыбаемся, буквально искрясь тем самым счастьем, которого нет. Вот и получается, что люди окружены фальшивым счастьем, в то время как настоящее счастье где-то забыто… и вопрос о его отсутствии не стоит на повестке дня.
– Раз это так абсурдно до очевидности, почему же… как же тогда удается убедить людей действовать себе во зло? Тем более если это все складывается само собой.
– Минутку, это тоже очень в тему… Но пока я не забыл, дайте ответить на хороший вопрос – зачем и почему. Или в безликой форме: как так вышло, что путь прогресса пролегает мимо счастья? Дело в том, что счастье, как мы выяснили, сложно определить и еще труднее измерить… высоту, глубину, полноту… или как вам больше нравится называть степень личного счастья.

У нас нет… эм… мерила – шкалы, критерия или показателя для оценки счастья. Нет простого способа его измерить, перевести в конкретные числа и оптимизировать действия по этому параметру. Мы научились оценивать в денежном эквиваленте многие нетривиальные вещи – такие, как жизнь и здоровье… или хотя бы некоторые их аспекты. Страховые компании не в теории, а на практике без лишних сантиментов назначают цену жизни, болезней, травм,.. И

прогнозируют изменения этих цен на десятки лет вперед, разбивают на тарифы, премии и… Ой, пока меня не занесло, я не про страховые компании, а про важность мерила. Если мы способны прикинуть, сколько людей заболеет такой-то болезнью, во сколько обойдется их лечение и оценить ущерб экономике, то мы можем решить, какой объем средств стоит выделить на, скажем, ранний диагноз или превентивные меры. А со счастьем – сложнее, его трудно перевести в плоскость денег, и поэтому оно выпадает из сферы внимания, когда из противоборства различных сил свободного рынка формируется вектор дальнейшего развития.
– А как же качество жизни? – выпалил долго отмалчивавшийся карьерист. – К чему изобретать велосипед?!
– Видите ли, – я постарался смягчить тон, – качество жизни – это суррогат… Так называемое качество жизни – это понятие во многом связанное с материальным благополучием, которое трансформируется в потребление. То есть – сколько чего у кого есть и сколько чего можно приобрести. Но как быть, если это не влияет на счастье? Или влияет, но крайне несущественно. Мы что хотим? Более навороченную тачку или быть счастливее? Когда идет речь о качестве жизни, предполагается, что чем лучше материальное благосостояние, тем человек счастливее.

Из понятия “качество жизни” можно вывести примерно следующее тождество:

$$\$\text{частье} = \Sigma \text{ удовольствий}$$

Это частный случай той формулы, где счастье якобы складывается из совокупности удовольствий. Такое же скрытое предположение делается относительно прогресса, и оно тоже неверно. Но, еще раз, верно или неверно, наша экономика не обладает навыками для учета соображений подлинного счастья, и пока не особо стремится ими обладать. Поэтому условный Запад, который, по сути, нынче включает в себя почти весь мир… Да, так вот, условный Запад озабочен вопросом благосостояния, которое просто исчислить в денежных единицах – с этим мы умеем работать, умеем оптимизировать процесс, делать выбор. А со счастьем, у которого нет цены, мы не знаем, как быть.

Погоня за удовольствиями и попытки избежать отрицательных ощущений тесно связаны с понятием качества жизни. А с точки зрения буддизма эта погоня и есть корень зла – то есть страдания. Вечные тщетные метания за химерами ума под названием “мечты” или, иными словами, за сокращением дельты в разных плоскостях – прямой путь в бездну страдания. И это, дорогие мои, возвращает нас к первому высказыванию о пиздеце. Как это было? Повторите, пожалуйста.

– А? Пиздец?.. – очнувшись и растерянно озираясь, протянул паренек с причесоном немецкого подростка.

Последние полчаса он развлекал собой свой телефон, но кто-то из соседей отвесил ему подзатыльник, и он снова оказался с нами.

– Счастье – это когда предыдущий пиздец уже закончился, а следующий еще не начался.
– О, спасибо! – я выстрелил в его сторону из пальца. – Если назвать этим термином один рывок в погоне за положительными эмоциями или в увиливании от отрицательных, то в этом высказывании кроется глубокая древняя мудрость. Счастье – это именно тот краткий миг, когда предыдущий рывок уже закончился, а следующий еще не начался. А чтобы сделать состояние счастья более стойким и продолжительным, необходимо натренировать ум не вовлекаться в эту карусель. Гасить дельту в зародыше на уровне мельчайших спазмов ума.

Я опять хлопнул в ладоши, победоносно осмотрел аудиторию и подмигнул еще не до конца понявшему что происходит псевдонемецкому подростку.

– Прекрасно! Был еще отличный вопрос, к которому мы хотели вернуться. Как там?.. Напомните…
– Раз идея о достижении счастья путем потребления так абсурдна, как же удается убедить людей в нее верить?
– Ага, так… – я прошел вдоль доски, восстанавливая ход мысли. – Да, сложно внушить такое как есть, но… нам преподносят этот бред в глянцевой подарочной обертке. Смотрите, основная проблема сегодняшней экономики[55] – не производство, а потребление. Почти в каждой отрасли – перепроизводство, и если мы не будем все больше покупать, то заводы обанкротятся, банки, которые ссудили им деньги, обанкротятся, и система рухнет к чертям собачьим. Невозможно остановиться, наоборот, необходимо наращивать темп, и встает насущный вопрос – кто же купит все это дерьмо? И чтобы обеспечить нарастающий спрос, за последние сто-двести лет вырабатывается новая этика – этика ударного потребления, печально известная под собирательным названием “консюмеризм”.

Происходит политическая, общественная и нравственная революция. На протяжении всей истории подавляющему большинству приходилось довольствоваться малым, и этика была соответствующей: скромность – это добродетель, а излишества и роскошь – это грех. А сегодня излишества и потребление предметов роскоши поощряются. Нас агитируют постоянно себя

---

[55] Здесь Господин Редактор поставил загадочную пометку: “Проблем у экономики нет”.

баловать. Убеждают, что ограничиваться малым – это… некий гнет, неволя; жизнь коротка, надо все успеть, попробовать. И поэтому необходимо раскрепощаться и стремиться к свободе ублажать все мыслимые прихоти. Можно сказать, что свобода потребления – это главная сегодняшняя свобода.

Мало того, потребление превратилось в основу идентичности. Шопинг стал любимым времяпрепровождением…
– А при чем тут идентичность?
– О-о, это целая тема. А я еще собирался о свободе… Давайте об идентичности, а там, если успеем, и о свободе. Или хотите о свободе?

Мнения разделились.

– Ладно, попробую коротко. Значит так… клуб фанатов музыкальной группы – это первым делом сообщество потребления. Они покупают диски, треки, рингтоны, майки, плакаты; болельщики футбольной команды – то же самое. Или зеленые… Зеленые не призывают нас к оружию, они хотят, чтобы мы осознанно покупали или, наоборот, не покупали. Чтобы мы выбирали те продукты, на которых правильные метки и товарные знаки компаний, поднявших на флаг зеленые принципы, и накладывали экономические санкции на тех, кто этого не сделал. Или, если вы религиозный еврей, то покупайте только кошерную пищу, покупайте кипы, талиты[56], мезузы[57], покупайте субботние свечи, какие-нибудь пальмовые ветви на Суккот, на Хануку – ханукальные свечи, подсвечники и… и другие ритуальные атрибуты для каждого праздника и обряда.

Таким образом мы выражаем свои идеологические или религиозные убеждения. Мы вкладываем средства, финансируем и реально продвигаем тех, кто представляет наши интересы. Мы манифестируем свою идеологию в супермаркете, и это самые прямые выборы! Не важно, отдавать ли себе в этом отчет, мы все по-настоящему голосуем каждый раз, как достаем кредитную карточку, а не где-то там на выборах раз в четыре года.

Более того, – я поймал себя на том, что уже вещаю. “Ничего, – отмахнулся я от этой мысли, – скоро меня кто-нибудь перебьет”. – Более того, или даже – хуже того, потребление стало не только неотъемлемой частью выражения нашей идентичности, но и почти всех человеческих чувств и привязанностей. Подарки,

---

[56] Талит – молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало.
[57] Мезуза – футляр с молитвой, прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме. Молитва должна быть написана от руки, глубоко религиозным и квалифицированным писцом, на свитке из кожи ритуально чистого (кошерного) животного.

сувениры, всякие презенты являются обязательными лубрикантами отношений – между родителями и детьми, между супругами, между друзьями и порой между коллегами. Праздники, и в том числе религиозные, превратились в оргии потребления. Яркий пример – Рождество… Христос изгонял торгующих из Храма, а сегодня Рождество Христово превратилось в вакханалию консюмеризма. И это при том, что ублажение плоти в христианстве считается смертным грехом. Как это у них в головах уживается? Загадка.

Гораздо больше средств тратится на диеты, чем необходимо для того, чтобы накормить всех голодных в мире. Сначала люди активно потребляют и слишком много жрут, а потом покупают всевозможные услуги, связанные с диетой. То есть дважды вкладываются в строительство развитого капитализма. Молодцы, одним словом. Почти святые с точки зрения идеологической доктрины общества изобилия. “Тратьте, расходуйте, покупайте!” – наша первая заповедь. Нет денег? Не беда! Берите кредит и покупайте! Кто будет хорошо покупать – попадет в рай еще при жизни!

И настоящими адептами вменяется не отлынивать от священного долга потребления даже на отдыхе или, скажем, в отпуске, – я продолжал вещать; как ни странно, никто пока не возражал. – В этом якобы и состоит настоящий отдых, никаких альтернатив и быть не может. Планируя отпуск, вы обязаны приобрести путевки или авиабилеты, забронировать гостиницу и каждый день баловать и ублажать себя потреблением разного рода увеселений и развлечений, а по ходу дела все документировать, чтобы, вернувшись, выложить фотки в соцсетях, отчитаться о паломничестве в очередную Мекку потребления и пожать плоды вашей набожности в виде общественного одобрения. А если вы взяли отпуск, имели средства, имели возможность, но никуда не поехали и не развлекались по полной, – значит, с вами что-то не так. Вы не живете полной жизнью! Как можно? Вы же грешите против всего святого, и вас надо… – я присвистнул и провел ребром ладони по горлу, – в лучшем случае пожалеть.
– Вы говорите так, будто капитализм – это религия! – неуверенно хихикнула девушка с утиным носом.
– А так оно и есть! Акт потребления – это жертвоприношение на алтаре капитализма или… там… общества изобилия. Согласно их мифологии, потребление и инвестирование ради будущей прибыли и еще большего потребления – есть главные священнодействия, через которые верующий вносит посильную лепту во имя торжества и процветания капитализма, тем самым вступая на путь к обетованному счастью. Эту аналогию долго обосновывать в подробностях, да я и не ставлю себе целью непременно убедить вас во всем, что говорю… Не пытаюсь дать, и тем более – навязать готовые ответы. Хочу лишь

поднять вопросы. Так что еще пару слов, а дальше поразмыслите об этом на досуге.

Значит,.. нет концептуальной разницы между идеологиями и религиями. И те, и другие выдвигают гипотезу о том, каков мир на самом деле, и тут же объявляют, что это не гипотеза, а аксиома или божественный закон. Затем, исходя из этого, они предписывают их адептам, как себя вести. И в тот момент, когда из псевдоаксиомы возникают моральные и нравственные нормы – это уже религия. Однако, если вам удобней называть религию, где нет бога, идеологией, – пожалуйста, но тогда буддизм тоже не религия, а идеология. Там нет богов. Есть только свод законов природы… или человеческой природы и восприятия, основанный на наблюдениях за механизмами сознания.

Все, хватит об этом, я обещал еще о свободе. Итак,.. за последние пару сотен лет было изжито рабство, раскрепощены крестьяне и введены прочие разнообразные свободы… и все это якобы под эгидой гуманизма, высокой морали и бла-бла-бла в том же роде. Но никакой моралью там изначально и не пахло, мы затеяли это из экономических соображений, а потом задним числом налепили на это дело этикетку гуманизма и прослезились по поводу того, какие мы белые и пушистые.

Штука вот в чем: методом проб и ошибок человечество убедилось, что рабы, которым внушили, что они свободны… а свобода, разумеется, наивысший идеал… И-и, когда рабам внушают, что они не рабы, а раб-отники, по личному выбору гребущие к счастливому будущему, они начинают грести значительно лучше, чем такие же рабы на той же галере, которые гребут из-под палки. У “свободных”, – я изобразил пальцами кавычки, – людей, свободно гребущих к еще большей свободе, КПД гребли гораздо выше, и это экономически выгодно. Вот и вся метафизика пресловутой свободы.

А держать рабов в повиновении можно двумя способами. Либо по старинке – цепями и кандалами, либо в бархатных перчатках, как это делается со всеми нами.
– Какие еще рабы?! Откуда в современном мире рабы?
– Ой, вам не нравится слово “рабы”? – делано изумился я. – Конечно, не нравится! Именно поэтому нас приводят к повиновению окольными путями. Сперва нам впаривают святость идеи свободы, а затем заменяют допотопные оковы на более завуалированные и действенные системы контроля – эдакий букет социальных ценностей и установок в стиле “обильное потребление = счастье”. Хотя есть и материальные ошейники для “свободных” людей, которые настолько “свободны”, что сами с энтузиазмом обзаводятся кандалами. А если они хорошо работали, то

им (естественно, за отдельную плату) даже позволят выбрать модель, дизайн и дополнительные фичи.

Опять же, это не коварный заговор, таковой порядок вещей складывается сам собой. В столкновении двух государств побеждает более эффективное – то, где рабам мнится, что они свободны. Победив, они, естественно, насаждают свое мировоззрение, а не чужое. И выживает та идеология, которая более выигрышна в военном и экономическом плане, но никак не в плане личного счастья.

Итак, ошейник в виде ипотеки. Ипотека – это такой традиционный этап на жизненном пути. Сыграли свадьбу? Теперь берите ипотеку. И в то же время ипотека – это надежный способ закабалить молодоженов лет на двадцать-тридцать. Беря ипотеку, человек подписывается на долгосрочную комплексную сделку из финансовых обязательств и целой охапки ценностей прогресса. А там, глядишь, с годами дурь выветрится, силы поубавятся и проторенной колеей… Тот, над кем висит ипотека, менее склонен противиться установленному порядку, а если даже осмелится возмущаться, то интересовать его будут в первую очередь проценты и сроки платежей.
– А как же молодожены должны приобретать жилье?
– Само собой, у всего есть плюсы, и тут они очевидны. Мы бессчетное количество раз слышали гимны домашнему очагу, об этом не только говорили и пели, но даже плясали. А я хочу заострить внимание на обратной стороне общепринятых вещей. Так вот, с ипотекой покончили, разберем другой тип ошейника, делающий вас доступными всем и каждому, всегда и везде. Мобильник. Еще не так давно, когда человек уходил с работы, начальник не мог до него докопаться с просьбами и требованиями. А теперь, честь и хвала технологии, кто угодно в любой момент может вытащить вас даже из сортира, и не только дома, а в любой точке земного шара. Повсеместное, круглосуточное и бесперебойное подключение к матрице. А ведь мобильник был предметом роскоши и всего за пару десятков лет стал обязательной нормой. Нет мобильного телефона – ты белая ворона. На тебя оказывается социальное давление – так что изволь приобрести ошейник, чтобы на тебя косо не смотрели.

Но ипотека и мобильник – не первопричины, а следствия. Главные оковы инсталлируют у “свободных” людей в головах в виде социальных конвенций и красивых идей о том, что счастье достигается путем приобретения товаров и услуг, о том, что прогресс ведет в прекрасное будущее, о том, как важно, нужно и здорово карабкаться по карьерной лестнице к некоему мнимому успеху, или о каком-то там неуклонном росте уровня жизни… Все это с детства инсталлировано в голове

современного человека, это довлеет над нами и это необходимо непременно выполнять, чтобы не “остаться на обочине”, а “шагать в ногу с жизнью”.

Так, и со свободой разделались, что же я еще планировал… – я с нарочитой задумчивостью почесал затылок, – а, вот! Сейчас мы это присобачим к нашей пресловутой свободе и к уже затронутому вопросу религии, – я заговорщицки потер ладони. – Раз дельта и вытекающие из нее стремления являются источником страданий, то в тот момент, когда с людей сняли кандалы и впрягли в мечту, уже не руками, а мозгами, значит… нынешние “свободные” рабы неминуемо будут страдать гораздо больше… или там… глубже когдатошних взаправдашних невольников.

Однако в современном мире о страдании говорить как-то даже не вполне… м-м… корректно. Оно оставляется за скобками, что не может не показаться странным в исторической перспективе. Испокон веков все большие религии честно признавали наличие страдания. А с недавних пор расцвел культ притворной радости и показного счастья, где все обязаны натужно улыбаться и корчить из себя черт знает что. И тема страдания заметается под ковер. Отчасти причина в том, что свободный рынок слеп к таким вопросам, но это лишь потому, что мы не задавались целью оптимизации прогресса в направлении счастья. А… может, стоит?

Да, непросто. Вероятно, даже гораздо сложнее, чем оптимизировать по принципу благосостояния. Но ведь это лучше, чем тупо пропагандировать культ притворной радости и показного счастья, запрещающий даже говорить о страдании. Давайте говорить! А то как-то странно выходит: сколько человечество себя помнит, страдание было неотъемлемой частью бытия, потом начался прогресс и… трах-тибидох, фокус-покус и опаньки – страдание будто бы исчезло само собой – даже не фигурируя в повестке дня.

И это подводит нас вопросу, прозвучавшему в самом начале и оставленному напоследок. Зачем, собственно, это рассказывать?! – я отстучал подобие барабанной дроби. – Я рассказывал не зачем, а почему… Потому что это важные темы, о которых не принято говорить. А если уж о чем-то из этого и говорят, то с корыстными целями подрядить нас на очередной крестовый поход за некой мечтой. А я не намереваюсь извлечь особой выгоды… если, конечно, не считать удовольствия насладиться вашим смятением… – я на секунду застыл, любуясь, как это у меня вышло. – Мда… не без этого. Так что, вы уж простите, но… если серьезно, я столько распространялся о страдании не с коварной целью испортить настроение перед сессией, а потому что, нравится вам это или нет, оно все равно есть и происходит со всеми нами. И чтобы иметь возможность что-то предпринять,

первым делом стоит это осознать. Даже одно осознание уже само по себе неплохая штука.

И еще не помешает вникнуть и заняться буддийскими практиками, потому что эти ребята серьезно подошли к вопросу. Их, по сути, ничто другое не интересовало. Они единственные, кто систематически изучал механизмы страдания и счастья, занимаются они этим уже больше двух с половиной тысяч лет, и им есть много чего сказать.

Спасибо за внимание и, можно сказать, выдержку, – я театрально поклонился. – И удачи на экзаменах. Разумеется, о страдании там спрашивать не будут, но мы с вами находимся в храме, в эпицентре возникновения самых амбициозных дельт и мечт. Я от всей души советую в дальнейшем вернуться к этим вопросам. И лучше не слишком откладывать.

Благодарности

Спасибо:

Елене Коркия – помощь и поддержка всяческого сумасбродства;
Владимиру Клюзнеру – редактура развязки и частичная редактура редактуры;
Жене Финкелю – байки о веселых похождениях, за которые ему порой стыдно;
Анне Reiwen – изящные находки и самоотверженная борьба за смысловую целостность повествования;
Дорону Клепачу – всестороннее содействие, которому не стали преградой даже языковые барьеры;
Юлии Олеговне Польчин – феноменальное внимание к деталям и латание прорех редактуры;
Светлане Боярской – столь многое, что нет никакой возможности все перечислить;
Шурику a.k.a. Шурик С Приветом – вдохновителю и редактору рассказа “Соседка”;

а также Александру Новосёлову, Марине Матусевич, Евгении Конторович, пани Александре Сашневой (Алыч) и всем принявшим участие в создании романа.

За неоценимый вклад в русскую литературу.

*

И спасибо тебе – читатель – потому что без тебя и твоего внимания наши старания утратили бы существенную часть смысла.

Эта книга никак не рекламируется. Судьба моего второго романа в ваших руках. Единственными способами его продвижения будут отзывы в библиотеках и размещение ссылок на мой сайт http://yanross.net *в соцсетях и других интернет-ресурсах самими читателями.*

Ян Ross